

Г.Н. Сонов

В ПРОВИНЦИАЛЬНОМ ЖИЗНИ

(Маленькая повесть)

В захолустной городке, где-то возле польской границы, жил некто Михаил Охьхин. Малый был довольно высокого роста, строен, но, вместе с тем, и коренаст, и тяжел в плечах. Руки он носил крестом за спиной и, когда говорил с кем-нибудь, то, глядя собеседнику между глаз, медленно, будто крылья, выносил их из-за спины на грудь. В речах он был неохотлив и некрасив, слова путались у него на языке, и не то что кому другому, самому Михаилу быстро надоедало разминывать этот клубок. Лет ему было около двадцати пяти.

Провинции обычно живут свободнее столиц. В какую сторону ни кинь — все верстами до края, идут поля, леса, полустепь, неозженная, нехоженная целина. Летними, гудкими ночами луна кажется ближе Москвы.

... Так и наш городок жил. И все огромное, чем живет мир ежедневно, он объяснял по-своему, а поскольку газеты "осведали" все посевную да жатвенную, растил Заборьевск и собственных корреспондентов. Боже мой, чего только не напечатывали им по ночам их простенькие мушкетеры! Сенот этот или не всем! Например, про председателя горсовета, человека отменной нравственности и, я бы даже сказал, негнбимой воли, долго говорили, что он, якобы, у третьего любовника своей жены, снабженца Сидорова, украл синюю каракулевую шапку с пуговкой !!!

И про героя нашего племени разное, но потихоньку, и в глаза доносить боялись: горяч был он. Потом, несмотря на такую необузданность мнений, толком о Михаиле никто ничего не знал.

Встречали его в градусе, но бывал он часто и подолгу трезв; задирался отчаянно несколько раз в городском сквере, дрался удачливо и самозабвенно, но был доставлен как-то в Первую советскую больницу, бывший женский монастырь,

набитым в кровь; работал грузчиком в какой-то третьеразрядной артели, но и запросто мог затянуть беседу с ленинградской знаменитостью, недавно приехавшим в Заборьевск учителем русского языка Николаем Павловичем.

Одно было точно известно. Коренным заборьевцем Ольхин не был. Внесло его в наш городок откуда-то из средней Руси. Может, даже не совсем благополучно внесло...

...Приходя с работы домой, Михаил много, автоматически с ним здоровавшейся хозяйки — старухи Осиповны, шел к себе за печь, где стояла его маленькая, и тихой и уютной, комнатенка. Там он зажигал лампу и ложился с книгой на самодельную скриную кровать. Впрочем, он более спал, чем читал растрепанный, дореволюционного еще издания сборник, с хитрым, двохвостом для современного уха звучащим названием: "Анекдоты и максимы из жизни Петра Великого, собранные на поучение любознательных юношей, Иван Иванович Глоссов". Этот русский немец — затейник прошлого столетия — был сейчас уже одним тем хорош, что не мешал дремать рабочему человеку. Остальное мало заботило Михаила в будние дни его недели.

В субботу вечером он преобразился.

Тщательно чистил башмаки; бригая ослиной сквозь смятые губы водой, четкой тер дорогого, польского сукна костюм, темно-синий, выходной. Потом, стоя у вмазанного в печь сенокоса зеркала, строил себе рожи — брился и, заклеив порезы бумагой, наконец, тяжело тонул по морщинным половицам в сенах.

Осиповна, как к сыну льнувшая в каждому своему мальцу (пускала она только холостых парней), страдальчески смотрела ему вслед, охая и престаив мелко-мелко. Знала старуха: за полночь, пьяный, с остановившимися стеклянными глазами, придет Михаил домой и будет во сне ворочаться и ругаться. Из-за этого она давно бы отказала ему, но почему-то, считая сиротой, все жалела парня. "Господи, твоя воля! — шептала Осиповна. — Кто же его приголубит?"

Да, русская песня поранила душу Михаила!

Еще в крохотном своем Вологод, при живых родителях, пошел как-то шестнадцатилетний Олехи на неструв, отроческую, до утра из-за какого-то праздника, вечеринку. Все шло как положено. Девушки поупрямились пить, поупрямились да и разраспались; парни, напустившие на себя для начала мужской сдержанности и молчаливости, выбрались из-за стола пошолодевши; четко разделились парочки и одиночки; форточки открылись и синими кругами пошла в них дым, отслаиваясь от потолка. Кто учился танцевать, кто нараспашку откровенничал, кто с угревой напирсией забился от глаз подальше в уголок. Центром внимания испод'аль стал шестнадцатилетний на вид, блестящий толстячок, с узеньким, в гармонку собранным лбом. Унико поблескивая маленькими, глубокими глазками, он ухватил нежно-розовое тело гитары пютерней и, положив ее почти плашмя на колени, щипнул струны:

- Да по зеле-и-о-й ... - низко и далеко взял он гулким, хрипящим своим голосом. Шум осел разом. Тихо и пусто стало вокруг Михаила. Все застыло на своих местах. Не дрогнет, не векохнет. Натянулось струною и идет, идет ...

... по травушке-муравушке

уж и не сыскать мне потерянных колец! - вдруг свая толстячок сердце и, подержав, отбросил:

... Уж не найти любви моей забавушки! ... - и, словно с горы спуская разбитую, никому не нужную, малкую жизнь свою, сказал:

... Да вот и счастье, вот конец!

Дальше, что бы не попросили, под толстячок. И странно, под его почти квадратными пальцами хорошо было любой песне! Они, казалось, служили ему. Он качая, сплевывая прямо на пол огрызки напирсеного мундатука, время от времени спрашивая для голоса водки, и шел, словно с унылом, бесстыдно обаявая, всем давно знакомое, привыкшееся.

"Зачем же все время про меня! - боялся, глядя в сторону, Михаил. - Ведь я тут ни при чем! Честное слово, ни при чем!"

Но толстячок, так просто державший на самом острие, главного-то и не понимал.

Михаил, впадучий, точно могли его вернуть за руку, вышел во двор. По-осеннему далекие звезды остро и холодно смотрели на него. "Ну что?— казалось говорили их узкие, злые глаза. — Соня, мальчишка, а тоже — голову вверх! По-года, голубчик, еще сломаться и еще как сломаться!". С подкатившимися к горлу слезами вернулся в избу Михаил и впервые в жизни горько, до беспамятства, плакал.

Прошло это. Минуло тяжелое, безвыходное похмелье, безотчетное чувство стыдного, непреодолимого; потянулось, как-то, обыкновенное, в любовь строку годные стать, дни; но какая-то обидка продолжала спокойно жить рядом с Михаилом, и он уже сам не понимал: то ли помогает она ему, то ли под корень рвет всякое свободное, новое желание. Что-то не делалось, не получалось, оставалось камнем. Ольхин уже работал понаемную, исправно приносил домой каждый свой, не-легко заработанный рубль, но где-то в нем было по-прежнему плохо.

— Пост же люди! — пожаловался он как-то своему соседу, звонкому на голос, кузнецу Потапичу. Тот посмотрел внимательно, а ответил равнодушно, легко:

— Запоешь, коли за кажинную песню по тыщу рублей отвалит!

Вскоре после этого умерли у Михаила отец с матерью, а там, своею кривой вывезенный, и попал он к нам, в Заборьевск.

II

Уезжая из Ленинграда по окончании института Николай Павлович Симаков, учитель русского языка и литературы, внушавший у себя на кафедре надежды и спокойную уверенность. "Что ж! У Симакова своя дорога! — говорила сокурсница Николай Павловича, вертявшая Зордыко. — Он с головой!"

Однако ж, "своя дорога" — тоже не самое обжитое место в мире, и, без толку прождав решения ученого совета, Симаков получил место в Заборьевск. Надо сказать, что известие это лишь немого задело Николая Павловича. Будучи

довольно сильно унаренным в себе, он думал, что не место красит человека, а человек место. Все-таки, некоторое время спустя волнение восстановилось в своих правах. И с утра, в день отъезда, уже с билетом в руках, Симаков места не мог себе найти.

Вышло еще и так, что продать ему было не с кем: родителей своих он не помнил, сослуживцы давно разъехались по местам будущей службы, обрывки случайных любовных знакомств не беспокоили совершенно, друзей же, как думал постоянно и сам он, у него никогда не было.

День, против всех ожиданий, оказался длинным: все дела были кончены, а новых Николай Павлович в таком положении начать не умел. Вспокойство, достигнув своих пределов, приобрело странную уравновешенность. Симаков ни в чем не угорваривал себя, а просто ходил, смотрел, прикидывал на глазок то да се. До поезда оставалось еще часов пять.

Этот зыбкий период ожидания зыбко и прожил он. Из обихода на бульвар, с бульвара на набережную, с набережной, неизвестно зачем, в институт носило его ненужное время, и, хищно приглядываясь к летнему, со всех сторон наступавшему городу, ничего не мог решить Николай Павлович, подчиняясь неукоснительно тому, о чем и сам бы не сумел связать и слова.

Гораздо раньше положенного часа собрал он свои чемоданы да сумку, осмотрел внимательно, стараясь ничего не забыть (а забыл-таки рубаху), ныне опустевшую, всегда на семь человек рассчитанную комнату и несомненно, с передышками, пошел к остановке трамвая. Там он поставил вещи и закурил. Перед ним, в сереньком, будто ветхом, будто ситцевом воздухе спокойно, смиренно даже, стояли желтые дома, и, словно в другом измерении, недостижимые, шли люди.

Странно, что эта не самая теплота умиления и стремленности снова за куревом, но уже в тамбуре вот-вот готового тронуться поезда, вновь посетила Симакова. Виден был ему на вагонного проема лишь кусок перрона со всей его суетой и бестолочью, о существовании города за грудой провожающих можно было только догадываться, а минут на пять, не больше, полюбил ясно и откровенно Николай Павлович его, невидимые отсюда, симметричные громады, и таким был прилив

неожиданной приязни, что словно опустел весь до пяток он, словно избавился на время от необходимости сознания, и удивлялся, когда вернулся в себя, просто, безболезненно.

Поезд фыркнул слатым воздухом тормозов, потонул, почезался секунду-другую на месте, потянулся и пошел, по-драгкая длинным суставчатым телом, сторонясь уверенно домов, перрона, людей, леса, всего окружающего, без чего он был еще ненужнее, еще единственнее.

"А проводники-то в вагоне ничего, приятные!", — думая часом поезде, опять же в тамбуре, Николай Павлович, вдыхая сухой запах угольной копоти и беспокоясь уже только надеждающейся скукой душной вагонной ночи. Когда, как правило, всегда успокаивала его. Была в ней особенная отрешенность и свобода. "Вагон — это наглухо застегнутый президиум, — думал он, — английское воскресенье! Хоть-не хоть, а бездельничай!"

А поезд все шел и шел, разбрызгивая желтенькие, осторожные огоньки пригородов и все меньше становился за спиной его Ленинград, а жизнь ленинградская Николай Павловича пропала вовсе; он и сам ничего уже о ней не помнил.

По коленчатому проходу плацкартного вагона прошел Симанов в свое купе, влез на вторую полку (он всегда ездил второй полкою, так казалось ему удобнее), смял, как надо было ему, дряхлую вагонную постель и потому, как не спалось все-таки, стал смотреть в узкую и длинную стидную форточку, которой кончалось пыльное окно. Желтый, видный свет, еле освещенный вагон, съедал малейшую возможность разглядеть что-либо за стеклом. Матовая глубокая чернь неслась мимо окна и, кроме своего чахлого, бледного, совершенно ему не нужного страдания, ничего не видел Николай Павлович. А спать все не спалось; плавали в мозгу, будто полосы табачного дыма, тягучие абрисы каких-то мыслей; предчувствовало тело будущие неурядицы и неприкаянность, но ничего это знание-ощущение не меняло, а будто делало Симанова еще равнодушнее и обиденнее.

Хотелось, пусть насильно, но что-то решить для себя. Прояснить. Однако, о себе не подумалось, а, покачиваясь в

такт скрипящему, полному душиным сном вагону, понял Николай Павлович, что наступила откуда-то пустота, и сразу же увидел он за окном низкий, далеко во все стороны лежащий лес. Проезд мимо нем много маленьких зеленых деревьев, синек дымом занесло их верхушки, слышал Симаков сухой треск вокруг, казалось ему, будто надвигается что-то, но пейзаж за окном был необыкновенно пригож и тих.

— Ничего ничего быть не может! — подумал, будто прокричал вслух, он.

Но рябь, рябь забилась пейзаж. Синий дым, презде едва схватившийся сквозные верхушки деревьев, отяжелел, загустел, поплыл жирными, толстыми кольцами, на мгновение потерял всякий цвет и медленно стал краснеть.

— Да вы же все ждете, — равнодушно сказал низкий женский голос и не увидел, а понял Симаков, что далеко где-то прекрасная женщина печально и криво улыбнулась.

Горячо стало ему. Приступ бессильного и, в замкнутости своей, жестокого, метательного гнева охватил Николая Павловича.

— Да, я могу покончить со всем разом! Ни один конец из-под воды не всплывет! — закричал он громко на всю красноватую муть, клубившуюся перед глазами, и замер, ожидая ответа, как бессонного, глубокого сна... и не дождался, его будто с кровью стерли прочь, потому что заорал, давись поклоном, полуторогодовалый младенец на низкой полке, и, отирая рукавом вспотевшее и обмякшее во сне лицо, пошел Николай Павлович, покачиваясь по вагону, перекурить. Было еще не поздно; шел, кажется, первый час ночи...

III

Старый горбылем корчился над железнодорожной решеткой Заборьевока однопролетный немеходимый мостик. Под ним всекое бывало, а поверху больше ходили, хотя сторожика-Алана и уверяла клятвенно, что однажды своими глазами видела, как, едва касаясь перил полами рижего драпового пальто, летел по-над мостом завесладом товарищ Ворженко. Сторожихе верили немногие: только старушка Осиповна, хозяйка Ольхи-

на, да всегда в кого-нибудь безнадёжно влюбленная семилетняя Маничка Брук, вечная невеста тридцати трех лет от роду. Остальные все мост любили и уважали за долгую и безупречную, вопреки нерадению горосвета, службу.

С одной стороны к мосту примыкала густой привокзальный скверик, с другой — чуть ли не до самого горизонта в ряд тянулись саборы, решетки, насады, ограды и просто плетни из колючей проволоки. За стеной сильно своеобразным типом толпилась тьма-тьмущая всякой дряни. Были здесь и еще Никановской постройки склады, угрюмые кирпичные сооружения, вышло не отдаленные воем в поговорку легкомысленности своих хозяев; были и массивные государственные сараи с высоко поднятыми к углам дверей замками; была и частная орунда, выкатывавшаяся на ветру, строения лысых, нервные и прожорливые от каждого мореха; был и обыкновенный мусор: разнокалиберные ящики, битые сляки, клопы серой бумаги и изношенная до неузнаваемости обувь.

Старожилы, на глазах избрав дорогу, находили в самом центре этой груды помещений лавочку не лавочку, а черт его знает, что такое. Нечто среднее между ящиком изпод бутылок и печкой. Внутри, на ризей сосновой чурке, сидел краснолицый мужчина, весь поросший грязноватой щетиной и, выкатив синеватые губы трубочкой, свистал себе в нос. Старожил садился напротив в кучу тряпья и заводил глаза к потолку. Посвистав еще пять минут, краснолицый спрашивал:

— Сарак семий?

— Угу! — тоже краснея лицом, отвечал старожил.

— Вызвети! — вскрикивал краснолицый и замолкал. Когда физиономии у обоих становились приблизительно одного к того же цвета, он так же меланхолично спрашивал:

— Сявони есть?

— Нет! — Отвечал, даваясь, посетитель и становился краснее хозяина.

Тут краснолицый переставал свистеть и вперял свои крохотные глазки в старожила.

— Ея бо, Мина... — орать начинал тот даваться.

- Все поделанное.- Вдруг обрывает его краснолицый и, выплыв из рта с деснами деревянных гвоздей, говорит в рифму:

- Стань нагу на бунагу!

Старшая обычно уходила довольный, а вслед ему несли бойкий перестук молотка. Надо сказать, что краснолицый зная свое дело превосходно и баяники на любой фазон или мастеровых. Добротные и тугие, на ручной кожаной подошве они выходили из-под его левой руки похожими на добродушных гусей. Однако, не на одном мастерстве держалось его благополучие. Сомнений его доходов были граждане, агроны судьбы не измышлялись в узкие рамки магазинного ассортимента. Продаются, положим, в Заборьевске человек со ступней парозой, как растоптаный кален или, наоборот, разномором с курящую лапу, вот и иди он за мост к Мише, вот и кланяйся ему, красней и борисчи, давай, пенный вздор. Бранда, не бывало еще, чтобы тот отказывал, но за робость да за редкость, само собой, выскazyвал; тоже ведь надо жить человеку, чай, не птичка.

Кстати, Мишей его в Заборьевске звали, видимо, только удобства ради. В паспорте же краснолицый писался: Моисей Соломонович Соловейчик.

В выходные дни Соловейчики троекот гуляли по главной улице. Сам Моисей Соломонович, как и подобает порочнику, шел на полкорпуса впереди, но бокам его, чуть отстав, инстпуали горлопалосные жена и дочь Ханна; все трое были в темно-серых демисезонных пальтоках и черных лакированных туфлях; Моисей Соломонович тахонько насквистывал чарльстон.

Многочисленные знакомые весело кланялись.

Дойдя до вокзала, тройка плано разворачивалась и через пост вострнала в свой "Залинейный район". У тилекого деревенного дома с желтыми стенами Моисей Соломонович не без лихости тормозил, вынимал из заднего кармана повиотных брыз летей чугуномй ключ и стпирал дверь. Жена с дочерью, стенинно перенаклялись на ходу, исчезали в черном проеме; Соловейчик взглядом хозяйки окидывал улицу, лихо сморкался прямо на землю и закрывал ставни.

Удивленные соседи издали издали из ряда вои выходящее нарушение этой церемонии: жена, пропустив Ханну, не пошла в дом. Она остановилась на пороге и, растопырив руки, что-то стала доказывать Моисей Соломоновичу. Тот выслушал ее молча, а потом выскочил на изворот и, деликатно напудрив под синюю вуаль, протолкнул в дверь. На улице все снова вошло в старое берего. А в доме, тем временем, горело все тех сил.

Ханна, свалившись, села на стульчике между обеденным столом и буфетом, подперев голову рукой и опустив глаза в пол. Она была удивительно хороша сейчас. Волосы цвета старой бронзы волнистыми выщипываясь придирами путались по ее легкой шее, зрачки, задрагиваясь, то сужались, то расширялись, а на левой щеке была такая матовая родинка, странная и спокойная. Тонкую ее донышнюю фигуру уже не уродовал, будто из стального листа вырезанный, минимизм и зловещая линия свободно играла в нервном изгибе спины. Осенью этого года собиралась гулять Ханна свое двадцатилетие.

Мать ее, стаскивая на ходу тяжелое парсартное платье, пучила глаза и задыхалась мутными крупными слезами:

— Ну! И он думает, если он робит этим недоноскам обуток, так он большой человек! Министры! Я говорю: Мойша, погляди дальше носы! Мойша, ты не видишь, что думают люди! Они ж все знают! В субботу приходит Овновна и что она говорит: "Соловейчика хоча пазору! Я, говорю, не допущу! Мойша скрозь забор лез до пазей Ани и порвал штаны! Я, говорю, старая, но я чистила кондана, что бачала, то и скажу! А вам не советую! Они не пара! "А? Мойша! Что ты молчишь? Мойша? Ну скажи ей сам? Я знаю что? Не скажи! Мойша!

Моисей Соломонович в соседней комнате, чуть слышно что-то шептавшая, сидел на диване. Вдруг он не выдержал:

— Ты се говоришь? Ты се говоришь? — вскакивая он к жене, видяши далеко вперед округлое брюхо и обмякая слухом. Выяснилось, между зубами его и сейчас сидит добрый десяток деревенских гусей: — У тебя нет дочерей! Ты — собака, а не мать! Ханночка моя, Ханночка! Сара! Я уйду из этого дома!

Хай он сгорит! Мне никто не найдет! Сто я имею до книжных станков! За какая-то Осиповна дороже родной дочери! Ханночка моя, Ханночка!

Моисей Соломонович был вне себя. С поднятыми в потопок руками он то бросался, умиленно улыбаясь дочери, просил ее о чем-то; то срывающим голосом порывался рычать на полураздетую жену; то ни о того ни о себе вдруг замолкал и тогда его ошарашенные губы сама собой вылезли трубочками и в напряженной полутьме комнаты возникал ненадолго какой-нибудь зловещий быстрающийся мотивчик.

Сарра проворительно перебрала этот кутанный припадок мужа и, когда он кончал, широко отбела правую руку в сторону:

— Вы только поглядите на этого старого дурака! — обращенное к отсутствующим хриплым слушателям было ее любимым приемом в семейных окошках: — Это же ему невылазно! Из него уже порошок сынется, а он прыгает, как молоденький! Я знаю, что он ответит? Это сам черт не знает! Что не скажи — съезди! Ну а счастья себе! А чего же скажу больше! Съезди!

Точно, Моисей Соломонович уже был, как колодой, и Сарра по опыту знала, что выйдет он из себя только минут через двадцать, не раньше. Она после воскресной прогулки почувствовала себя усталой.

Сара погасла. С кухни гремяще дребезжала тарелка. Подвигался обычный семейный ужин.

Ханна продолжала сидеть скланившись, подобрав под себя одну ногу и глядя в пол. Трудно сказать, что думала она. Вероятнее всего — ничего. За свои двенадцать лет она достаточно привыкла к семейным перепадам настроения и старалась общаться с родителями как можно равнодушнее. Говорила правду, ей давным-давно уже надоела и истеричная, умиленная любовь отца, любовь, которая не хотела знать про Ханну ничего, кроме света и радости; и дивная, подозрительная ревность матери, следящей за каждым ее шагом так, будто она вот-вот готова идти в публичный дом. Тудо, что неразвитое сознание девушки, освобожденное от затиявшегося

детства, нигде не могло сыскать себе опору. Вот уже несколько лет, как жила она совершенно столбучьей жизнью. Утром вставала и помогала матери собирать отца на работу, потом они вдвоем готовили обед, потом в бездействии ждали ужины. Был, правда, патефон, да крутить его разрешали только по воскресеньям: плохо было в занятах Заборьевских с друзьями. Подруги ушли — кто на работу, кто в замужество. Были еще красивые военные, но, под зорким крылом отца с матерью, никак не могла добраться до них Ханна. Сердце ее билось или по что-то слишком знакомое, или в пустоту и поназло слабело, выравнивалось.

Была еще причина спокойствия. Не знала за собой вины Ханна. То, что любая девушка ее возраста делала открыто и просто, между прочим, ей, почему-то, запрещалось. Ну, виделась она с Михаилом в саду вечером, так что из этого? Был разговор с оглядкой! Даже поцелуев не было! И теперь она досаждала на это:

— Если б я только знала! — шептала она. И думала: В следующий раз во что бы то ни стало... обязательно... как пить дать! — и дальше уже не думала, а ощущала острое, горячее дыхание его и твердую мужскую грудь, которая сладко и сильно давила ее, тугие губы...

Что ей Ольхин, Ханна не понимала. Наверно только то, что родные про него не знали; наверно только то, что смотрел из-под ветки, улыбаясь открыто и шуря глазами; наверно только то, что скаку перелетел вдруг раскатынный забор и, подхватив у ней из рук ведро с черешнями, сказал:

— Оказывается, я вас и не знал! Миша!

Ханна хотела раскричаться, но рукам стало легче, много спутались и не шли на лени, что-то давило под горло. Она сказала:

— Вы со всеми девушками так? — и отвернулась.

— Нет, конечно! Ми же соседи.

— Все равно не культурно! — наставительно ответила она и, неожиданно заметив между деревьями цветастую юбку матери, оцепенела. Повернувшись к Михаилу, она приказала запачканный соком черешни палец к губам. Тот присел:

- Так все-таки, как же вас зовут? - прошептал он, глядя на Ханну снизу вверх. В белые яблоки глаз веером прелились крутые ресницы.

- Доченька! Ханна! - раздался голос матери.

- Вы слышали? - не глядя на Ольхину, спросила она.

- Угу!

- И побежала! - почти вслух прошептала она, а тот же час тугой махониной скрыл ее яркое ситцевое платье.

Михаил, переждав немножко, полез к себе.

Вечером, невольные подойдя к соседскому забору, Ханна увидела его снова. Была суббота, и Михаил стоял на крыльце в своем выходном костюме и, верно, раздумывал, куда же пойти. За его спиной чем-то брелчала в сених Осиповна.

Заметив Ханну, Михаил подошел к забору:

- Здравствуйте! - сказал он и протянул ей в щель свежесмытую распаренную ладонь. Ханна руки не подала, но поблуждалась. Ольхин не обиделся.

- Вы в город идете! - улыбнулся он.

- Нет!

- А может все-таки?...

Ахил у него в голосе какая-то особенная напевка, и Ханна внезапно согласилась.

- Я только мамке скажу! - попросила она и добавила, с трудом подбирая слова: А вы идите... на улицу... мне на углу идите.

Не трудно было Михаилу исполнить просьбу. Он подождал, а потом они все время на одном и том же расстоянии друг от друга обогнали за два часа почти весь Заборьевск. Или по главной улице сквозь толпящийся у магазинов народ, или по крыльям, заросшим пылью переулками возле базара, обогнули широкой дугой привокзальную площадь и минут пятнадцать смотрели на насаженную воду пруда имени Третьего Интернационала. Мягкий муть лежал над городом, сады лезли на бесконечные заборы и прямо прохаживали на голову высои роскошные, тонко звенящие листьями, ветви. У ворот сидели похожие на лур старухи. Несколько раз они выходили прямо на освещенный фонарем пятачок, где под патефон, ведывая пыль столбом, ухая и приседая от избытка счастья, плясал заводской молодец.

Отчего так таинственна провизия летними вечерами? Что думается ей, когда медленно тянутся по-над хатами чистые молочные облака? Может быть, в вершинах одиноких тополя поселится тогда неведомое и таится до поры до времени? Может быть, из окрестного леса ползут тогда синие густые туманы и путают все, и путается бедный приезжий человек и не знает — терять ему или искать!

А может быть, все это — вадор! Вон тухнут уже желтые фонари, и сторож по ушк натягивает даровой, казенный тулуп. Пятачок танцевальный исчезает, раскладываются по кроватям старушки, мальчишки, вразучись, сговариваются куда-то по своим делам. Ночь. Ночь обложила Заборьевск.

Николай в тот вечер пришел домой раньше обычного.

13

"А городок ничего себе! Стоит, как кастрюля на огне, бурлит, приправами пахнет. Только по усам ли похлебна?" — думал Николай Павлович, гуляя после обеда по Заборьевску в легкой белой рубашке и сиринучих, на кожаном ходу, сандалях.

Ему казалось, что по усам. Он получил уже место, нанял уютную недорогую комнату с печкой во всю стену, отстирался, отгладился и теперь, в ожидании конца летних каникул, праздно наслаждался зрелищем захолустным крышам, звонким и розовым, как яблоко.

Ила вторая неделя его новой жизни.

Заборьевск, как думал Николай Павлович, не произвел на него ни малейшего впечатления. Он считал, что жить везде можно, и что от себя никуда не уедешь. Однако, полагая так, он забывал натуру свою. Она, испрохвоявшаяся, лезла в любую щель, прикидывалась прошлым, дурачила будущее и уж совершенно свободно жила в настоящем.

Сымаков открылся.

Бывает так, кое-как нищенствует у себя в горшке какой-нибудь тем домашний кактус, пыльной чепухой смотрителю он на подоконнике, прохожие равнодушно идут мимо, даже солнце падает на него косе, но не меняется квартара, находится хозяйка порачительнее, и чудо — нашего знакомого не узнаешь, он

зеленеет, никитен, и кажется ему, что всегда он был таким и не при чем тут ежедневные поливки и новая, любовно срубленная кадуща.

Николай Павлович сам бы подумал так, найди на него настроение похуже, но не хотелось...

Не будучи коренным ленинградцем (он воспитывался в детском доме в Ростове), Симаков так, по существу, и не привык к этому огромному затронутому городу. Надо, видимо, иметь какие-то особые на осени настоянные кровя, чтобы без сосущего ощущения одиночества ходить по октябрьским площадям Ленинграда, в июне задыхаться лирикой белой ночью, а зимними, стилими вечерами следить, как безнадежно багровое солнце стекает в сугробы за Охтой и оттуда медленно кроет алым сквозные, будто из ночи сотканые, решетки и скользкие абрисы набережных, бессильные оградить вечную бедную реку.

В Ленинграде Симаков постоянно был настороже. Город казался ему похожим на гомеровских сирен. То, что издали было прозрачным и тонким, поблизи оказывалось литым намертво из чугуна.

Память Николая Павловича отличалась одной неприятной ему самой особенностью: со страстью истинного околдована она хранила по своим темным закоулкам ворохи настроений. На деле особенность эта мешала жить. Едва уловившие огорчения приобретали космические масштабы, а случайная радость превращалась в такую бурную волну, что он, обычно, уж ничего не мог делать, понуждаемый перазивать свое состояние до конца. Достаточно было малейшего толчка, чтобы веренищем потянулось прошедшее, вынырнули бы откуда-то давно ненужные поступки и ком, разрастаясь, достиг бы сказочных размеров. В такие периоды Симаков грустнел, замыкался, искал одиночества и, как после болезни, слабый и удивленный возвращался к привычному.

Живя в Ленинграде, Симаков даже гулять, где заблагорассудится, опасался. Стороной обходил Марсово поле, там он однажды с кем-то ошибочно поздоровался, на него холодно взглянули, вот и все, кажется, но до сих пор всем существом своим помнил Николай Павлович злой короткий взе-

рок у горла, и судорогой всегда встречало его это влосчастное место.

В Заборьевске Симаков был свободен. Он еще ничего не помнил о нем и не знал. Городах правился ему и чем-то заинтересовал. Тянуло во всем разобраться. К тому же в роли исследователя Николай Павлович чувствовал себя необыкновенно уверенно. "Это не Ленинград! — думал он. Как-нибудь да разгрызем орешек!"

Забавляло его и местное общество. Он не смотрел на своих новых знакомых свысока, но и простой взгляд, после того к чему привык Симаков за годы учебы, замечал вокруг довольно много вариативности. Не зная города, его вкусов, интриг, Николай Павлович, как и всякий свежий человек, сталкиваясь непосредственно со следствием, замечал в первую очередь мертворожденное, живущее на прищипках, в воздухе.

"Вот взять хотя бы директора школы, — размышлял Симаков: Милий, душевный человек, в меру ограничен, кажется, счастливо женат, читает, что под руку ни попадет, лисоват и общителен, а по-мальчишьи как-то завидует вурлявому математику, струкулисту и, наверное, парадному сластолюбцу! Где тут начало лавров? Или их просто скука воедает, хочется острых ощущений?"

Здесь Николай Павлович, к чести его, еще не знал, что струкулист-математик два года жил с любимой женой директора школы, как со своей собственной, а добродушный работяга-начальник, смертным страхом боясь за должность и авторитет, с бичьим упорством ничего не замечал...

Жизнь лишь ненадолго отпустила Николая Павловича, а он, осматриваясь на новом месте, этого не видел.

У

Однажды, обедая в хежеисдорской столовой, Николай Павлович улыбался себе вши. Он поднял голову. К нему, улыбаясь, шел струкулист-математик в серых щегольских брюках и розовой рубашке "аппал".

— Здравствуйте! — сказал он, выставив на показ голубоватые, мелкие зубы и тонкую злую морщину у губ: —

- Все скучаете? Ну, не Ленинград, конечно, не Ленинград, но такие люди живут, а некоторые - он подмигнул - даже благоденствуют! Не замечали?

- "Какого черта он вытворяет! - подумал Симаков. - Обществен, как трехмесячный ребенок!"

- Да вы кушайте, кушайте! Слыхали новость, - все так же весело сказал математик, - Ильини женится! Не подкажете, что подарить?

Николай Павлович понятия не имел, кто такой этот Ильини.

- Трехспальную кровать! - прожевал он.

- Не достать! - уверенно хихикнул математик и, видя, что Симаков допизвает компот, встал: Вы куда?

- Да так... - протянул невнятно Николай Павлович и с ненавистью подумал: "Вот навизался!"

- Мне туда же, - не расслышав математик.

Вышли. День был на диво тонок. Прозрачное солнечное золото скрашивало даже опухшие, немые окна столовой. Над дорогой низким маревом золотилась, слезавшаяся без дождей, пыль.

- Здесь еще ничего кормят, - тараторил математик. - Вот я отдыхал в В. Ужас! Но мы все равно напрасно это делаем, заплатите хозяйке и будете довольны. Клянусь! Они готовят однообразно, но качественно. Уверен! И никаких хлопот, приели- стол накрыт! Честное слово! Здравствуйте! Это я не вам! А вот в мой дом! По пути, верно? У хозяйки такой сад, вы не поверите: виноград растет! Черт его знает почему, лонная женщина, должно быть! Зайдите! Вам понравится, уверен!

Симакову было безразлично. Он совсем не слушал спутника и только кивал, когда тот резко повышал тон.

- В дом не пойдем. Марш, - продолжал математик, отпирая калитку. - Марш на место! - вдруг заричал он на пробежавшего им навстречу тихого пса. - Не кусается! Добрых! Когого характера. Ха-ха-ха! Вот сюда. Сам помогай беседку делать. Вы посидите, а сейчас принесу чего-нибудь выпить. Не против? Вот криховник. Займитесь! Я мигом!

Ветер, попадая в беседку, становился ручным, прохладным. Густо нахло садом, размеренно жужжали мухи и, поддавшись этому неназойливому очарованию, Николай Павлович сам не заметил, как задремал, а может просто он сидел, задумавшись и глядя в одну точку, пока не ослепила его, рыкая на зеленом, голова незнакомой девушки. Глаза ее были испуганы.

- Станцала? - спросила она параспев.

- Не... не знаю. - Не сразу ответил Николай Павлович и смутился. Девушка тоже робела. Придерживая у колен платье от ветра, она вертела на палец свободной руки крупную пряжу. Под мышкой у ней был зажат тугой газетный сверток.

"Почтальон, что ли?" - подумал Сиваков и сказал:

- Вы извините, я здесь в первый раз и вообще приезжий, может быть, я чему помешал, вы скажите, я уйду!

Девушка покраснела. Тонкая акварельная краска оттенила родимку на левой щеке.

- Ничего! - почти прошептала она: Я иду.

Николай Павлович подвинулся. Девушка продолжала стоять.

"Хороша, ах, как хороша! - неслось в голове у него. Он никак не мог сскакать первого слова. "Все белоберда какая-то! - шлился он на себя: О чем с ней говорить?! У ней и слова какие-то странные: Ничего!"

- Чего! - внезапно встрепенулась она.

Николай Павлович совсем потерялся. "Ненк!" - подумал он быстро и прикусил язык. Ну как опять вслух сорвется!

- Ну вот и я! - раздался сладкий голос математики: Анячка, ваше имя! Я тут немного от щедрот земли-матери, так сказать, - и он поставил на чистый деревянный столик графин с какой-то оранжевой жидкостью, две рюмки и тарелку дымящихся светло-желтых сладких. Потом медленно почесал в затылке:

- Я третью рюмку еще минутно!

Вернувшись, он перехватил у девушки сверток.

- Вот спасибо! - благодарил он, выскиывая глазами сладкую попластней: И дружили, Анячка, как никогда в жизни!

Честное слово! Я уж и сам было собирался зайти... а тут... на тебе, прямо к сроку! День в день! У меня старые порывались! — он необыкновенно дружелюбно улыбнулся: — Хотя на свадьбу не идё...)

— И нашла, наконец, то, что искал, круто сменил тему: Ну, вздрогнули! Согрелись! Такое вино грех не пить! Домашнее!

"Прямо культиассовый работник! — недовольно перекатывая во рту горячее тесто, думал Симакон: — На мгновение замолчать не может! Чертунка!

Математик, словно не замечая возникшей за столом неловкости, веселился непрестанно. Слегка захмелев, обращаясь попеременно, то к Николаю Павловичу, то к Анечке, не требуя ни поддержки, ни внимания, он рассказывал, покатываясь со смеху, замшелые анекдоты, пытался говорить голосом директора школы, с угрожающе-тактичным видом сообщал о себе самое обидное:

— Я, — говорил он, загибая стол руками, — учитель! Простой школьный учитель! Но я все вижу! Во, — показывал он палец, — от меня ничего не спрячешь! Ни на вот столько! Клянусь! Я сражу: Тарун, к доске! Вот! К доске и на "мур-мур". Уверен!

Анечка сидела, не поднимая век. В нутных местах она фыркала смехом, изредка краснела.

Из разговора Симакон понял, что она — дочь священника, которому математик заказывал бабки. Положение Анечки злило Николая Павловича. Все ему было не хорошо. Горчило терпкое домашнее вино, отдавали постным маслом сладушки. Последними словами ругал он себя за то, что согласился пойти в гости. "Дон Жуан несчастный! — безнадежно думал он: — Раскинь, как мальчишка! С ними надо мгновенно: пришел, увидел, победил. Промедление — смерти подобно!"

Несколько раз он совсем было собирался уйти, но трепетным румянцем наливалась родинка...

Внезапно Анечка встала.

— Я никак не обещалась, — упорно отвечала она на все уговоры математика. Тот покинулся, покинулся и распрощался.

Взвешав за ней встал и Николай Павлович.

- И не думайте! - заявил стрежухист: - Вас не пушу! Ни под каким видом! Мы с вами сейчас еще графинчик ахнем!

- У меня свидание! - соврал Симаков...

Он догнал Анечку возле рассохшегося колодца. Девушка быстро шла, отводя за спину руки, и на ходу покачивалась.

- Подождите! - попросил Николай Павлович, чувствуя, что единственных слов никогда не будет у него: - Я хотел извиниться. Там, в беседке я почувствовал себя нехорошо и, верно, напугал вас.

- Вы- больные? - с любопытством глядя на него, спросила Анечка.

- Господи, снова не то! - в конце отчаялся, подумав Симаков.

- Нет, что вы! Просто мне было очень не хорошо!

Анечка звонко расхохоталась:

- Ничего не понимаю! То вам очень хорошо, то сразу же нехорошо. Чего же было? - спросила она, четко произнося шипящие.

Гнетущая струна вдруг лопнула. Симакову стало спокойнее. Пришло на помощь притворное:

- Да пустяки! - сказал он и уверенно взял Анечку под руку:

- Знаете, я увидел вас и все забыл.

- Ну! ...

- Нет, правда! Представьте себе, что вас оглушили! Внезапно, совершенно внезапно! Вы беспомощны, вы не знаете, что же вам делать, вы способны только удивляться! - голос Николая Павловича вдруг выровнялся, заиграл бархатом: - Вот, что было со мной! А я еще ко всему и приезжий! Понимаете! Неожиданность, меня сразила неожиданность! Вы к этому... как его... - он так и не вспомнил:

- Как же случайно попали?

- Не! Меня послали!

- Кто?

- Папка. Он ботаник был.

- Вы работаете?

- Но. Паппа говорит: работы всем хватает.

Николай Павловича немножко покоробили белорусизмы Анечки. Слова грохотали у ней на языке. К тому же внешность ее невольной настраивала на определенный износ. "Ладно! Что мне с ней- детей, что ли, крестить!" - махнул он в конце концов рукой.

- Значит, у вас много свободного времени. Как же вы с ним справляетесь?

- Мама помогает.

Разговор все-таки не шел. Смазков сломал свою скованность, но заинтересовать Анечку не мог. Она ему лишь отвечала. На всякий случай он спросил:

- Вы читаете что-нибудь?

- Ну, - кивнула Анечка и глаза ее на мгновение округлились: про любовь. Только про любовь пишут мало. Все как они задыхают. А зачем про это писать? Вздыхать и без книг можно! Я вот один ин-ци-ден помню. Сказать?

Николай Павлович невольно улыбнулся:

- Ну, скажите.

- Старый царь, только он не старик, а просто это давно было, полюбил девушку обыкновенную. Звали его Соломон, - Анечка смутилась и потупила глаза, - а ее - Суламифь.

"Ого! - удивился про себя, не заметив смущения ее, Николай Павлович: Ешь, куда занесло!"

- Он был богаче всех, - продолжала девушка, - имел большой дворец. Любовниц к нему приводили целые тысячи, а она после всяких баранов. И жила одна, бедная. Однажды он говорит слугам: А подать мне лучшую на земле девушку! А их уже нигде было взять - все кончились! Вот. А она, Суламифь, то есть, про него и не думала. Ела и говорила: Только бы мне кто-нибудь полюбил. Она и не знала, что она красивая. Вот. А царь в это время, гуляя, заснул в саду, проснулся, глядит: Суламифь перед ним стоит, руки вот так держит.

Анечка разволновалась донельзя. Губы ее не слушались. Они трясли, ковыляли слова:

- Там очень красиво! Царь говорит, что она, как сад! ..

- А где вы это читали? - спросил Николай Павлович, доказывая паузы.

- А я это не читала. Это мне папка рассказал. Он говорит, что мы должны знать свою историю.

"Ах, вот оно что, - поняла Симаков, - стало быть, она еврейка. И как я сразу об этом не догадался. В ней несомненно есть что-то египетское. А я все не мог вспомнить, кого же она мне напоминает. Точно! И разрез глаз, и волосы, и тонкие, длинные руки, словно только что сошла с фрески. Интересно!"

Торопливо дернув свой локоть из руки Николая Павловича, Анечка вдруг вытянулась в струнку, как солдат. К ним широким шагом подходила пожилая женщина с хозяйственной сумкой в руке. Выглядела она так, будто над ее внешностью много поработал в свой кубистический период Пикассо. Неправдоподобно прямоугольное лицо неповоротливо сидело на прямоугольном же бюсте; квадратные груди были наискосок перехвачены толстой вязаной кофтой, полы которой жестко упирались в горизонтальную линию бедер, облицованных негнущейся габардиновой юбкой. Лицо было красное, кофта зеленая, а юбка темносиняя.

- Ну и чаго мене думать? - взвизгывая, начала она. - Сказу дома! Дочка пошла отцу помочь! Нет - час, нет - два! У мене сердце разрывается! А?...

- Мама, вот Николай Павлович! Он приехал из Ленинграда.. - перебила Анечка.

Лицо женщины немного округлилось.

- Мене депо! - она наученно посмотрела на Симакова: - Так идите у дом! Я знаю, где ты ходишь?

Анечка провела Николая Павловича в свою комнату. Все было прибрано с детской старательностью. Посредине на полочке столик с гнутыми ножками, напротив в полутьме, застланная белой тканью кровать, на кровати накраида подушек, на самой маленькой, верхней, синих желком вышито: "Ханна".

- Сестра? - спросил Симаков.

Девушка улыбнулась:

- Не... Я сама.

- Так вас зовут Ханна?

- Кто как хочет, так и называет.- В сторону ответила она.

Мать принесла холодный, очень сладкий компот. Перед Николаем Павловичем она поставила тонкую фарфоровую чашку, перед Ханной- обыкновенный стакан.

- Може хочите есть?- спросила она Смакова. - Так у мене к обеду рыба.

- Благодарю!

Николай Павловичу было тревожно и лестно это отношение. "Жениха чуе!" - криво усмехнулся он сам с собой.

Он благодумствовал. Смакеник остался далеко, на улице...

- А потом ее убили!- неожиданно, но словно сообщая что-то всем давно известное, протянула Ханна.

- Кого?

- Суламиць!- отвоев от него дрожащие глаза, с обидой ответила Ханна: - Те, кто завидовал ... Убили!

Она словно подтаяла. Лицо стало нежнее, мягче, в движениях появилась плавность и простота.

"Дона и стены помогают!" - думал, наблюдая за Ханной, Николай Павлович. Под бледными, с трудом проносимыми, словами он чувствовал, живущее какой-то особенной жизнью, сердце. "Уж не влюбился ли я?- размышляя, начиная волноваться, Смаков: Она обыкновенная местечковая еврейка. Не умеет говорить, путает божий дар с яичницей, а, вместе с тем, в смысле ей не откажешь! Что это? Интуиция?"

Были слышны шаги матери за стеной, и Смаков видел, как трепещет от каждого пороха Ханна.

Горькая волна лишней, неостраченной нежности подкатила к сердцу.

- Не надо так! Успокойтесь!- он взял жаркую руку Ханны в свою, теплую. Та резко вздрогнула, отвела, не отжимая руки, лицо в сторону, и Смаков увидел, что по щеке ее, дергаясь, ползет слеза, маленькая, робкая.

- Зачем же... Зачем...- растерянно повторил он в то время, как внутри кто-то раздельно пропел, кажется, радужно: "Вот види!"

- Мне стыдно! - всхлипывая прошептала девушка: - Вы вот неприличны к этому, а у меня мамка, - она коротко блеснула векрячком, со слезой, глазами, - задохнуть не даст! Каждый день, каждый день и дома и на улице... А вам, - Ханна смалась, как перед прыжком, - а вам... - и задохнулась, теряя голос в глубине молящих, бездомных глаз.

- Что? - не мигая, спросил Николай Павлович. Сердце его было необыкновенно ровно, но знал он, что еще миг и сорвется он.

- Вам не стыдно...

- Чего, глухая? - как можно мягче произнес Симаков. Ханна поняла его голос.

- Что я... такая... ну... одним словом... еврейка...

Николай Павлович застыл. Глазам его стало нестерпимо горячо, потом жар отпустил их, и предметы в комнате расплылись.

- Как же так! - прошептал он, как ему показалось, про себя и, вскочив со стула, наугад, точно вдруг зацепился за ковер, сунулся перед Ханной на колени:

- Простите меня, ради бога! Милая моя, родная! - не договаривая слов и чувствуя непоправимую вину во всем, во всем от мыслей до жестов, говорил он: Все это - чепуха! Вадор! Вы лучше и чище всех девушек, которых я знал там, в Ленинграде! Боже мой! Боже мой! Успокойтесь, я прошу вас! Я... Я не знаю... я на все ради вас готов! Голубушка моя! Вот моя рука! Я сделаю все, что вы захотите, только выбросьте это из головы! Хорошо! Вы мне это обещаете!

Чувства Николая Павловича приняла Ханна разом. "Теперь он - мой, мой!" - радостно ударило ее в голову. Она побелела.

- Вы встаньте, - она отерлась. Улыбка осветила глаза, тронула губы, легла на подбородок янгов: - Еще мамка войдет. - Она благодарно провела по щеке Симанова ладонью.

Николай Павлович встал. Он чувствовал, что более оставаться в гостях не может. Тоснота подбирала к горлу, руки трясла, стнущая в жалах, дрожь.

- Я... Я лучше пойду, - попросил он еле слышно: Мне... надо. Можно я завтра приду?

Все стало Ханне безразличным и пустым. "Зачем он так?

- подумала она с тоской, а ответить сумела ласково:

- Я буду ждать! Приходите! Приходите!

Симаков, казалось, ничего не слышал.

- До свидания! - он наклонился и поцеловал ей руку.

Вскоре с улицы за ним глухо бухнула о забор калитка.

У1

- Смотрите сюда: вот этот стакан с трещиной, а этот цел, но, когда оба налить, изъеден незаметен. Так и люди. Бывает у человека в душе что-то сломано, однако, он работает, тянет свою линию и все ладно, здорово. Хорошо! Теперь пустите этого человека на свободу, дайте ему возможность осмотреться, подумать - и он непременно что-нибудь натворит. Будьте уверены, трещина даст себя знать!

Разговор шел в чайной номер девять. За угловым столиком сидели Симаков и добротный скроенный парень лет двадцати пяти, "работяга" по виду. Было немногочисленно. Официантки, как большие белые рыбы, медленно плавали по залу.

Николай Павлович попал сюда случайно. После разговора с Ханией ему было невыносимо стыдно. Он не знал, куда деться с этими грузом.

"Что я наделал, что я наделал! - говорил он, быстро шагая криками, темными проулками: - Все же было хорошо, налаживалось! И на тебе! Все рухнуло разом-и покой, и надежды! Господи, как я мог! Надо же было подуматься! Еднот! И главное, главное, зачем? Что мне это даст? Встал на колени! Перед кем?!"

С этого-то и начиналось самое скверное. Симаков до звонения в груди стыдился своей "сентиментальной", как он полагал, выходки, но что-то неумолимое внятно утверждало, что иначе поступить было нельзя.

"За что меня так!" - думал он и, не находя ответа, задыхался. "Хоть бы поговорить с кем", - мелькнула у него коротенькая, доходчивая мысль. "Не с кем!" - со злобой откинул ее через минуту Николай Павлович. "А надо бы!" - опять пристала та же мысль, когда он, сбавив шаг, выворачивал на площадь перед вокзалом. Симаков закурил и осмотрелся. Как раз напротив желтым огнем горели окна чайной.

- Так-то оно так.- Ольханы закурил:- Только ведь тут вот какая штука получается: пока говоришь, вроде бы и верно, а попробуй пожить, как вы рассказывали...

- И не надо жить,- тронул его за рукав Николай Павлович. "Понимает!"- облегченно вздохнул он про себя.- Я вам лучше, что со мной было расскажу. Хотите?

Михаил молчал.

- Не знаю почему, но истари уж так повелось, что если нам говорят о человеке плохое, мы верим мгновенно. Ну, положим, о соседе, которого не дня двадцать раз видим: Ваня, мол, женщину изнасиловал и убил! Чем мы отвечаем? Бывает! Бывает и все тут! Ни тени сомнения! Он, может, прекраснейшей души, а мы с плеча, радостно: Вонкое бывает! И все наши разглагольствования иску под хвост! К чертовой матери! А представьте на минуту другое, о том же Ване. Он, де, на матери-одиночке женился, чужого дитя, выходящая какого-нибудь, как родного плоть от плоти воспитывает, застывшее одинокое сердце с мукою греет. Да быть такого не может!- кричим: Дурак несчастный!

- Я об этом много думал,- переводя дух и совершенно не обращая внимания на Ольхана, продолжал Симакон: Мне это вот где сидит! И уж от этого уставать начал. Посмотришь прохожему в глаза и руки опускаются! Зачем все это, думаешь, образование, ум, стремления добрые и гордые, если тебя в единственной минуте жизни твоей оплюют, даже ни на вот столько не попытаются понять. И достойные люди оплюют, образованные сослушавцы и нежные женщины-подруги.

- Может вы всех по себе судите,- попытался вставить Михаил.

- Что? По себе? По себе, говорите! Вот по мне! Я только что с час назад девушку одну спас. Нет, не от смерти! От души! Так тоже случается, назависа душа- и не выбрать-ся человеку без помощи! А я помог! В гордость свою планую, а помог. Не забыть мне этого, потому что и во мне погань сидит и меня она ест! Сам себе не верю, что добро сделал!

- А что сделали-то, если не секрет?

Николай Павлович затравленно как-то повертел головой, будто жале ему что-то, хотя ворот рубахи был нараспашку.

- На колени стал,- сказал он и закашлялся, сильно справившись с собой, побагровев и повторил: - Да, на колени стал и прощения просил за то, что не в глаза глядел, а на задницу!

- Хорошо это, правильно,- громко сказал Ольхин,- от души! Я в ее не знаю, и тебя, Коля, а правильно! Эх! ... Ну выйдем, что ли?

Симаков исподлобья глянул на него. "Уже тикает,- зло подумал он,- а что ты из всего этого понял, червяк!"

- За что же пить?

Михани широко улыбнулся, глаза спрятались в морщинках:

- За встречу надо бы!

- Э-э-э, нет! - Николай Павлович прихлебнул его стакан ладонью. Голова у него сильно кружилась, хотя пил он только пиво:

- Это подождет! - он поднял стакан в уровень глаз: - Пью ее здоровье!

- Ну ...поехали!

Ольхин, не закусывая, закурил:

- Слушай, Коля, а ведь ты влой мужик, яростный,- сказал он расело.

Николай Павлович помрачнел. Уверенность в себе, припадок стремительной, легкой силы покидали его.

- А, наверно, просто несчастен,- тихо промолвил он и затащил.

- Брось, брось! Эх, голуба! Баба на то человеку и дана, чтоб он на покой не просился. А ты... - Видно было, что-то мучит его: Я вот тут тоже связался с одной, а что толку-то? Была б хоть женщина понимающая, а то девка! Да еще и еврейка...

Симаков улыбнулся: "Что задело за живое?! То-то!"

- Я не пошел я к ней сегодня. "Пропали ты пропадем!" - А вот вспоминать тошно. Только застряло все это. Чего попустишь к себе, я ее мучить? На днях и говорю ей, ничего не будет, Хенна, прощай я...

Николай Павлович встал. "Ну, уж это слишком!" - пронеслось в мозгу у него. В зале вдруг стало темно. "Я сойду с

ума!" — равнодушно подумал он и более уже ничего не понимал. Казалось, что навалился на него черный сон без окон.

III.

Вулканизм кончился, едва он только поравнялся с последними доминиканскими предместьями. Дальше дорога шла по-деревенски мглистая и узкая.

Идти в пыли по асфальтовой было приятно, это напоминало детство. Там в коридоре лежал чудом сохранившийся ворсинчатый ковер, и босиком из дортуара в туалет, подпрыгивая от мелкой щекотки, бегали воспитанники друг за другом в сапожках, и захватывало дух, и глаза жемело единственное на свете чудо, чудо много, вечного на миг, тела.

Николай Павлович облизал кольцо, запекшиеся губы и, присев на обочину под дерево, разулся.

Сознание еще плохо слушалось его.

"Дядно, обжег, — думал нехотя, с трудом Симаков, шагая в теплой, вязкой пыли, — а дальше что? Ведь надо жить, учить ребят, смотреть в глаза счастливым, всегда верно настроенным сослуживцам, встречать этого Ольхина, Ханну. Как и смогу теперь делать все это?"

Он считал себя окончательно погибшим. Ни малейшего просвета не хотел замечать он вокруг. "Господи, пусть бы землетрясение, пожар, наводнение, — сладко мечтал он, — только не ожоженный, ежедневный конвейер будничного позора!". Он полагал, что красота страдания смягчает боль.

Восприятие услужливо рисовало лутине, гротескные картины мировых бедствий. Горели города, бежали по улицам люди, матери, обезумев заталкивали куда-то под одежду розовых теплых младенцев. И в самой гуще горя, стороной, будто виновник, стараясь не оглядываться и не прибавлять жагу, пробирался он, Николай Павлович Симаков, заштатный школьный учитель, ничему не причастный...

— Что это?! — вздрогнув, прошептал он. И на цыпочках отошел в тень придорожных берез, робко дрожащих листьями.

Было темно. Ночь, как темная вата, лежала на дороге и на окрестных полях, и даже на небе. И в этой плотной

черноте вдруг что-то зашевелилось. Симакову казалось, что где-то, далеко впереди, ползет ему навстречу, переваливаясь лениво и осторожно извиваясь, еще более черный, чем ночь, большой маслянистый змей.

Впереди ослепительно брызнул огонек. Николай Павлович всмотрелся: действительно, что-то, извиваясь, жевалось и медленно двигалось на него. Посыпались голоса, и неизвестная масса стала на глазах желтеть.

"Солдаты!" — выдохнул Николай Павлович.

Может взвод, а может и больше шел в ночь по каким-то своим обязанностям. Ритмично мурмали сотни ног и, даже залаяв сейчас всю окрестность дневной свет, никто бы не сумел выделить из этой геометрически правильной колонны живого, одетого человека. Сердца стучали в лад, сапоги печатали шаг и, верно, даже мысли или рука об руку.

Симакову стало, по-настоящему, жутко: "Человечество насчитывает около шести тысяч лет цивилизации, — лихорадочно, совсем забыв о всех своих горестях, думал он, — и этот шаг мы применяем затеи лишь, чтобы научить груду парней ходить в ногу! Какая безысходность! Сотни великих, пылавших любовью стихов забылось, утрачены колористические тайны Тициана и Брейгеля, а эта мерзость спокойно переживает все! Самое прекрасное, доброе, человеческое! Небь и воины бросаются на добычу строем, но им нужно есть! А чего не хватает нам? Мне?"

Уже ничего не боясь, он закурил и, держа связанные пальцами баклажки на пальце, напружинив, через ресницы, холодящее посевом поле, пошел в лесу.

Что бы не случилось на земле, как бы не подходила тоска и горе вплотную к сердцу человеческому, лес оставался таким же, как и миллионами лет назад. Так же тянулось к солнцу кроны деревьев, так же печально и робко жила мох у их корней, весной в небо росли подснежники, летом ползали по полянам красивые зернистые ягоды, осенью в жидкие пряди лопая выветрившееся алое листво. Лес жгил, рубил на дрова, строил из многолетних гордых стволов жалкие мертвые временные-доми, а он с добродушной исполнимостью только позволял эти забавы, бесчисленные человеческие игры, но не покорялся,

не подчинялся, оставаясь вечным, одиноким.

Когда Николай Павлович вышел на опушку, начало светать. Еще серое, блеклое утро стлалось над полями, не трогая единого широкого пятна тихого леса. Города не было видно — то ли он был слишком далеко, то ли и вовсе пропал где-то в эту лишнюю, беспамятную для Синакова, ночь.

Вдыхая глубоко и полно засыпающую прелесть раннего зимнего холода, Николай Павлович почти радостно начал понимать окружающее. Его против воли бодрило, немые городские ступни колола сухая трава, с низин ему в лицо откровенно и доверчиво полз дымчатый туман, птицы еще спали, но их беззаботные и добрые присутствия была полна тишина.

"А что, собственно, такого страшного произошло? — текли в голове Синакова свежие, прозрачные, несмотря на бессонную ночь, мысли: Все это исчезнет "как воск от лица огня". Только бы жить, жить, наслаждаясь чистым летним утром, жить, задыхаясь январской влажной метелью! Я же совсем еще мальчишка! Мне только двадцать четыре года! Я нищен и обученный! Я еще всему только учусь! Подумаешь! Встал на колени и жаловался на самого себя какому-то пьянице! Вот лад, да перед ним народы стояли на коленях и жаловались, а что от этого осталось? Утренний туман? Березы?..."

Не разбирая дороги, он шел и шел, чему-то тихо улыбаясь и помахивая башмаками.

Где-то высоко в облаках рдевшее теплое розовое солнце. Его еще не было видно, но багряным вспыхнула одинокая чета берез на косогоре.

Хотелось пить. "Я, видимо, обогнул город, — размышлял Николай Павлович: — Вот за этим перелеском должна быть дорога. Потом направо, и часов в девять буду дома."

Заблудиться он несколько не боялся: что-то подсказывало ему путь. Он прибавил шагу и пошел, весело отмахиваясь от льющих прямо в лицо веток.

Сверху донесся ровный, стрекочущий гул.

"Самолет, верно, учения", — мальком подумал Николай Павлович. Дороги он за деревьями не видел, но готов был поклясться, что она рядом. Он был прав, вскоре деревья поплыли ниже, реке, отводя их захватывало серое полотно

узенской сельской дороги. За кунами чередой растущего высокого частого кустарника зачастила чеховская речь.

"Музички! — обрадовался почему-то Симаков: — На базар, небось, двигает." И еще наподдал.

Как-то непроизвольно застрекотав, из-за деревьев в небе блеснул чистой, серой сталью самолет. Вдруг он так резко пошел на снижение, что Николай Павлович невольно пригнулся. Почти задев верхушки сосен брехом, машина сравнительно медленно преподала над тем местом, где по расчетам Симакова вышла дорога и так же резко взмыла вверх.

Стало на мгновение тихо, потом Николай Павлович услышал громкий, но неразборчивый мужской голос, что-то кричащий. Механически перехватив багмаки в другую руку, Симаков бросился на шум. За кустарниками кто-то или что-то возмущалось.

— А, да ведь курва! — орал с каким-то неистовым отчаянием хриплый мужской бас.

Николай Павлович, поскользнувшись на мокрой траве у самой обочины, тяжело упал и, поднимаясь, неожиданно, сквозь редкие у земли стволы кустов, увидел метрах в трех от себя, лежащую с вывернутыми за голову руками, женщину в темном платье. Светлая косынка сползла на шею, освободив желтые выгоревшие волосы, в углах ее широко раскрытого рта стояли, качаясь, два маленьких розовых пузыря.

То, что Симаков увидел дальше, заставило его встать в замешательстве.

Средних лет избитый тонкий мужик в толстых пыльных сапогах, разгоняясь, бил это тело ногами:

— Курва семизарядная! — кричал он без всяких интонаций: — Я говорю, пойдешь, а знаешь с места! Падла!

— Вы с ума сошли! Остановитесь немедленно! — из своего голоса завопил Николай Павлович.

Мужик медленно, точно нехотя, повернулся. Лицо его мертвенностью своей напоминало безумную гипсовую маску, на которой только выкатившиеся из орбит, совершенно красивые глаза жили.

— Убьете! — прохрипел он, бросаясь к Симакову как-то

боком.

Николай Павлович увернулся и успел заметить, что обе руки мужика висят безжизненными плетями, а с пальцев в нить красными шариками падает кровь.

Симаков замешкался. Он не знал, что же ему делать, то ли драться, то ли бежать на помощь. Но мужик, разинувшись с ним, и не подумав возвращаться; так же беспомощно, боком, с какой-то автоматичностью в движениях, он побежал, что-то выкрикивая, вперед и вскоре скрылся за поворотом.

"Сняли!" — ошелолено запоздавшим страхом Николай Павловича. Он подошел к женщине. По ее груди от правого плеча к бедрам наискосок тянулся аккуратный пунктир обожженных, подкоженных кровью лунок.

У Симакова ступело опустились руки.

В небе застучало снова. Выпростав для чего-то прежде вверх руки, Николай Павлович поднял голову. Давешний самолет шел на снижение. Сквозь ветровое стекло была видна гладкая голова пилота. На крыльях началась, расплываясь, свистка!

Симаков опрометью бросился в лес. "Война! — вспомнил он недавно свои грезы: "Война!"

Вспомнились ему и тревожные слухи, уже около года ползавшие по стране, и институтские предупреждения, и разговоры неспотом на новом месте. Успоминаясь все то, о чем постоянно, прикованный к душе своей, он не думал.

"Да какая разница? — горько улыбнулся он: Это для всех неожиданность. Даже для тех, кто с логарифмической линейкой высчитывал сроки. Точно уверенными могли быть только суицидисты!"

Тут его мысль дернуло. Они вернулись к недавно виденному. Николай Павлович вновь почувствовал острый страх и брезгливость. Будто на него, жарко дыша аловонной пастью, напала костяная, осклизлая каба. Он злобно передернул плечами. В голове все путалось.

Что же это было? — представлял он: Там. Я выходил на проселочную дорогу, по которой крестьяне ходят на базар. Эти двое шли или туда, или обратно. Хорош! Сволочи! —

— он сглотнул приступ бессильной ярости. — Твари, они охотятся за пешеходами! С самолета на пешеходами! Почему же тогда мужик бил ногами мертвую женщину? Спития?!"

Перед ним с жуткой нетуторонней точностью всплыло застывшее лицо мужика, багровые глаза и вялые, трясичные руки.

Симаков остановился. Веки резали жгучие злые слезы: "Тут сойдешь с ума!" мелькнуло перед ним. В ослеплении ярости он никого не жалея: "Летчик-солдат! Он делает, что приказано! В рамках приказа и развлекается! Но мужик! Мужик! Он ведь жертва! Сткуда в нем эта жестокость? Они ведь не чужие, раз или вместе! Господи, помоги мне!"

Вну было так больно, будто он сам сначала шел, добродушно болтая с женой или соседкой, тихой дорогой, разглядывая с любопытством низко летевший самолет, а потом, с перебитыми, бесполезными руками, безумный и пустой, бил изрешеченное тело женщины ногами, отпрыгивая, теряя равновесие, разгонялся и бил еще и еще...

"Звери! — шептал он белыми трясущимися губами: Все звери!" Он сам в эту минуту был похож на сукашедного. Спутанные, грязные волосы лезли на глаза, обросшее лицо было исцарапано, глаза стояли на одной точке. Башмачки свои Симаков потерял, и окровавленные ноги несли его каким-то чудом через лес полям, пустошью к городу. Зачем, он и сам не знал.

III

"Экие чудачки!" — хмыкнула про себя Ольхин, когда Николай Павлович, опрокинув стул, на нагнувшихся ногах бросился к выходу. Разговор из головы не шел. Нельзя сказать, чтобы Михаил все понял, но беззастенчивость нового знакомца, его скорбящее чувство вины тронуло Ольхина: "За всех живет человек, переживает, а это не каждому дано!"

Было уже поздно. Чайная заперлась. Михаил решил, что вино его не берет. Он расплатился по счету и, взяв еще бутылку с собой, вышел вон.

Бархатная полночь захлала улицы, в круге желтого невер-

ного света стояло осунувшееся здание вокзала, в палисадниках шуршали цветы, городок спал, и светлое заутрашнее воскресение витало в его снах.

"С ним бы еще выпить!" — вспоминал, сожалея, Ольхин.

На свежем воздухе его развезло. В мозгу приятные и теплые плавали воспоминания, мельком, расплываясь, скользила Ханна. Ее Михаил поспешно отогнать. "Девка тут не при чем, — бормотал он, — и я не при чем, и все не при чем, разве что овраги Пушкина!"

— Он, как ему показалось, хитро хихикнул и зашел петь. С песней он и пришел домой.

— Ну, старушечка, божий дар, стиривай ворота, рванная гуляет! — приказывал он самому себе, протаскиваясь в узенькую калиточку. Осиповна уже давно спала.

У себя в комнате Михаил немедленно опрокинул старенькую керосиновую лампу, вылил прямо на горлышко вино и, как был в костюме и башмаках, завалился спать.

Спалось скверно. Мучили Ольхина давние, забытые сны, мучило и новое неизвестное, где-то далеко стучали, потом бросили и, подводя к его кровати, стали немилосердно ее качать.

— А, чтоб вам пусто было, сволочи! — отбивался Михаил, да не отбилась и проснулся.

Над ним стояла растрепанная Осиповна.

— Устанай! — сказала она, наводя на него слезные неподвижные глаза: Война началась!

— Давно? — не понял Ольхин.

— Ой, горе мене, горе! Немцы в городе!

— Могалиха сказала? — приходи в себя, осведомился Михаил.

С улицы донесся шум, и Осиповна, плюнув, опрометью выскочила из комнаты.

Ольхин попытался сесть. Голова наливной, плавной болью тянула его вниз, во рту было вязко и сухо.

— Старая перачница! — выругался он вслух: — Хоть бы воды принесла! Тоже мне. Война! Язык без костей у народа! Граница на замке! Сколько раз по радио об этом говорили!

Так нет! Черти!

Голову немного отпустило, и он рискнул сойти на пол. Придерживаясь за стенки, Михаил вышел в сени и, оунув лицо по ушам прямо в ведро, напился студеной, колодезной воды. Помогчало.

"Бедь сколько раз зарекался пить вино! — негодовал он, возвращаясь к себе: И все равно, обязательно угораздит!

Так как одеваться ему со вчерашнего дня не нужно было, Ольхин, наскоро умывшись, вышел из дому.

Уличка была безлюдна. Розный ветер бережно крутил на самой ее середине незную, дымчатую пыль.

— И-да, война! — хмыкнул Михаил. Ему хотелось пиза. Он прибавил шагу.

На углу его чуть с ног не сбил курвастий Возка, известный коначий мучитель, мальчишка вредный и лукавый. Ольхин, чтобы не упасть, ухватился одной рукой за забор, а другой за Возкино ухо. Тот не обратил на это ни малейшего внимания.

— Дядечка, дядечка, пошли немцев бить! Война началась!

— Ты что болтаешь, дурачина? — беря его за второе ухо, спросил Михаил: Давно батька не драг?

— Вот честное пионерское, дядечка! — шустро заборманил Возка. — Вот помереть мне на этом самом месте! Ай! Пустите! По радио объявили!

Ольхин недоуменно отпустил мальчишку.

"С ума все посходили! Какая война? Откуда? Нет, надо у кого-нибудь точнее узнать, — решил он. И вдруг забеспокоился: Может, правда!"

Завусочная, где Михаил по утрам обычно шел мимо и завтракал, была занерта.

Холодный похмельный пот выступил у него на лбу:

"Неужели, действительно, что-то случилось! — уже волнуясь по-настоящему, подумал он: Нет! Нет! Бить этого не может!"

Ему стало жутко на пустынной улице. "Может, все уже сбегали, один я, как дурак, болтаюсь!" — мелькнуло в голове.

- Э-э-э-х! - Михаил круто развернулся и побежал к вокзалу.

Вокзальная площадь, примыкающие к ней улицы и переулки, все вплоть до чьих-то огородов было туже набито народом. В воздухе стоял и казался тяжелым прерывистым дыханием толпы, мерный рев. Вился над головами желтый перынный пух. Окна домов скалились на все это хрупкими лучиками выбитых стекол.

Ольхин остановился. Попытаться проникнуть дальше было бесполезно. Сердце больно било в груди. Задыхаясь, он прислонился к прохладной стене углового дома и огляделся. Рядом с ним, вжавшись в мусорный угол между водосточной трубой и стенкой ларька, стоял чистенький мальчонка лет пяти в синих вязаных штанишках и блестящей вальветовой курточке. Глаз не было видно от слез.

Ольхин весь подобрался. Заркое желание куда-то бежать, во что бы то ни стало, что-то делать, кричать охватило его.

- Ты чего? - спросил он резко: - Почему один? Где мать-то?

Мальчонка витая из рта мокрый палец:

- Мама там! - он показал в самую гущу толпы.

- Ну! Быстро! - Михаил подсадив мальчонку на плечи и ринулся наперерез потоку. Он оттолкнул лысого старикашку с крохотным чемоданчиком на спине, сильно напоядал в ребро могучей нахальной бабе, лезшей вперед с упрямо закушенными губами, и вскоре вытеснил себе место за огромным рыжим узлом, который двигался, казалось, само собой. Мальчонка будто прирос к плечам Ольхина. Вдруг толпа резко осадила назад. Цепляясь за что-то мягкое, Михаил упал. Несколько минут он еще слышал истонный женский визг, потом перед глазами свернуло - и он потерял сознание...

... очнулся Михаил, когда солнце уже сходило со своего аравачного круга. Он напрягся и, ломая нестерпимую боль в затылке, встал. Нигде не было ни души. Летали какие-то тряпки, детские игрушки, ветер гонял ослепительно белые листы бумаги, ни звука, а в голове Ольхина иступленно гудел лавинный гамон, продолжала надрываться последний визг

гом какая-то женщина и детский слабый голосок просил: "Дядечка устал! Дядечку не трогайте!". Он не припомнил, а вновь увидел низкое полуденное солнце, страшные ползущие узлы на голове, голове, голове, куда ни кинь взгляд копки, платки, а из-под них висят безнадёжные пряди волос-русые, черные, рыжие, седые...

Придерживаясь за заборы, как пьяный, побрел Михаил. Ему хотелось одного: прийти домой в леж. На счастье вкоре ему попался колодец. Кажется, никогда в жизни Ольхин не тратил столько сил, как нынче на пустяки: перекинуть над головой куравль, а потом медленно, роняя пот, тащить на круглой дыре серебрянное ведро воды. Умывая лицо, равнодушным ухом поймал Михаил за спиной мотор. Верно, тарахтя на ухабах, катил по улице мотоцикл. Звуки пропали где-то рядом. Раздался смех, возня, и Михаил больно ощутил, как ему в ягодицу резко уткнулось что-то колючее. Он обернулся. Совсем близко стояли двое солдат в непривычной темно-зеленой форме. В руках у одного была длинная свесломанная палка, которой он и тикал Михаила. Переглядываясь, оба прискаки смехом. Ольхин растерянно наступил на ведро. Солдаты ваканулись пуще прежнего. Тот, что держал палку, совсем еще мальчишка, рыжий, заляпанный крупными веснушками, чуть не падал.

- Рус! - задыхался он: Рус! - и опять ткнул палкой - Валя, валя.

- Нет! - совсем забыв, что некому понимать его, ответил Михаил.

- Карон! У-у-у-у! Карон! Мьяаа! - ослаблсь, сказал второй, чернявый.

В доме напротив Ольхин за тьмевой занавеской разглядел верткую настороженную тень.

"Надевается, сволочь!" - быстро подумал он и пнул ногой ведро.

- Да! Мужик! - побелев, охвоть наслушавшись от гнева губы, процедил он: Русский мужик! Хороший мужик! А ну, убери палку, ты, сука!

Солдаты переглянулись. Чернявый что-то беспокойно

сказав товарищу. Тот, продолжая хихикать, отбросил в сторону палку и подошел к Михаилу.

— Рус! — он оскалил зубы и показал пальцем в конец улицы.

Часто дыша, Михаил молча смотрел на него.

— Рус! — Солдат подобрал к плечам лопти и ватонал по траве, изобразив бег, потом опять указующе протянул вперед палец.

Ольхин понял: "Взять, эта нация хочет, чтоб я перед ним бежал! Ну погоди, шура!"

Он прыгнул.

Солдат одобрительно закивал:

— Кареш, рус, кареш!

Нюхоса следя за чернявым, Михаил круто развернулся и всей тяжестью своей ударил рыхлого в подбородок головой. Солдат сочно ужал. Чернявый закричал, выкатывая глаза, схватился за висевший на груди ватонат, да отчего-то замешкался. Михаил прыгнул через низенький нахлестник и помчался вглубь огородов. Тело налилось уверенностью. "Иначе! Вот теперь я и побегал!" — даже не думал, а слышал он в кустах, в крупно растущих деревьях, в корявых заборах. Позади слышались частые, сухие выстрелы, звон стекол, крики. Ольхин оглянулся. Он успел уже отмахать черт знает сколько огородов и теперь вертелся на одном месте, стараясь смекать себе направление.

— На вот, выкуси! — весело, с прищуром, проментал он: Это тебе не Берлин! У нас в городе сам черт ногу сломит!

Точно! Погоня или вообще заглухла, или сильно замлутала. Тихо было в чужом саду. Начинало темнеть, крупнее, мягкие тени стлались под деревья, угловато горбась, вынырив из зелени тихий, добротный дом. Едва ли показалось знакомым Михаилу это место.

Где-то тоненько занежала дверь, захлебнулась, и по траве зашуркали опасливые шаги. Ольхин отошел в тень.

По дорожке со стороны дома почти на цыпочках медленно крадся пузатый мужчина с топором в руках. Видно было, что мужчину трясет, как в лихорадке, пулцовые щеки его

пригнали, а губы, пучась в какое-то подобие дудочки, сами собой посвистывали. Когда мужчина поравнялся с Михаилом, тот вышел к нему навстречу:

— Ну здоров будь, тезка! — насмешливо сказал он: Воров что ли ловишь, или как?

Моисей Соломонович, а это был он, выронил топор и судорожно свистнул.

— Ну а что я говорил? Сара! — он помотал головой куда-то вбок. — Сара, сказал я ей, у нас в саду отдыхает хороший человек, может, он притаился, а? Сара говорит: "Бандит!" Я ей ответил: "Сара, бандиты давно поуехали, остались одни хорошие люди, которым некуда деться, да мы!"

— Так ты, значит, на хорошего человека топор прихватил? — заинтересовался, закуривая, Михаил.

Моисей Соломонович растерялся.

— Я и говорю, — сказал он, опуская глаза, — Сара, разве ты не думаешь, что топор тупой! А вы не знаете Сару?

— А что Ханна? — перебил ее Ольхин.

Моисей Соломонович совсем затосковал:

— Ханночка не кушала сегодня рыбу! Я говорю, ну так что ж, что война! Не умирать же с голоду, когда тебя и так могут убить из самоката! Не, — он печально развел руками, — не кушала!

— Ну вот что! — сказал Михаил: Я, может, и не такой хороший человек, как вы там думали, но притаился я, точно, брезко и хвать хочу, как зверь! Так что тащи сюда эту рыбу! Ии ее живо устрои!

Моисей Соломонович вскристал.

— Что?

— Сара будет очень рада, — печально сказал он. — Она хочет поговорить.

Они направились к дому.

Сара сначала вовсе не ожидалась такой разговорчивой и радостной, как сообщил об этом Моисей Соломонович. Тотчас же отскочив к себе Ханну, она гулко ударила в тарелки, загрохотала с места на место стульями, отвесила пару оплеух кенке. Моисей Соломонович, насвистывая, забился в самый угол потертого дивана. Ольхин уминал все, что пода-

вали. Наконец, Сарра разошлась. По обыкновению своему обращаясь к нервным слушателям и поклонникам, она высипала ворох новостей — одна другой краше. И что эвакуация сорвалась; и что на Манечку Брук в спешке наступила кошада; и что наши пограничники, застигнутые врасплох, обросали даже ложки и вилки, пропали у черта на куличиках; и что немцы теперь в городе полные хозяева.

— Знаи! — буркнул Михаил.

Сарра как-то виновато посмотрела на него и слезы выкатились на ее выпуклые, красные глаза.

— Ну и что я говорю? — тихо произнесла она: Вам надо это знать? Миша, вы же русский!

— Ну-у-у-у-у! — не понял Михаил.

— Вей-вей, что с нами будет! Мне еще Берта Абрамовна на базаре говорила: "Жадам, они делают из евреев мыло!"

Смех оборвался.

— Сто, сто ты говоришь? — подскочил к столу Моисей Соломонович: Не слушайте, молодой человек, не слушайте! У людей нет совести! У них вот такие языки!

Он чего-то еще доказывал, но видно было, что это лишь задор, что сам он убежден в обратном и боится.

Ольхин встал. Он вспомнил колючие тычки палкой, две хохочущие фазмономии, рыжую и чернявую, любопытные, прохладные глаза, движения короткие, стрекательные...

— Вы, главное, Ханну берегите, — попросил он, вдруг оробев. — Она ведь девочка еще... А мыла они, если доберутся, из нас из всех понаделают! Спасибо! Большое ... Пошел я ...

Вдя домой, Михаил почти не чувствовал тела: день надорвал его!

IX.

В печали дожидала день, когда был у нее Симаков, Ханна. Будто что-то унес с собой Николай Павлович. Не держалась в руках работа, не пугала мать обвинительными

взглядами, солнце даже, кажется, раньше обычного погасло.

Ханна прилегла. В голове у ней от затылка к черепице была натянута струна, звонкая, тоньше волоса. От какого пореха струна молчалась, и слышала тогда Ханна, что думает Николай Павлович, где болит у него, и вздрагивала.

Чтоб была струна целой, стала Ханна думать, какая она плохая. Она не бранила себя за то, что сказала Синахову. Нет! Стидилась она своего говора, манер деревенских. "Он-то — культурный, — развивала она наперекор струне, — женщиной ручки целует! А у меня воспитания нигде нет!"

Где-то очень глубоко Ханна знала, что укоризны эти не нужны ей. Она была не хуже всех своих подруг, может даже, умнее. Только скребивало ее присутствие Николая Павловича, его глаза, тонкие пальцы нервных рук, пугало его непривычно-правильное произношение давно знакомых слов. От всего этого Ханна костенела и могла думать только о том, что видела перед глазами. "Наверно думает, вот дура!" — предполагала она.

Особенно обидно ей было от того, что с Ольхиным, которым не дорожила нимало Ханна из-за его постоянной близости, все шло и легче, и проще. Ей хотелось, чтоб и с Синаховым было бы так. "Да ведь не будет! — горько отбросила она эту мысль в сторону: Не такой человек Николай Павлович!"

Однако, как бы там ни было, новое и яркое влекло девушку необыкновенно. Это-то, по сути, и было основой ее страсти. Отсутствие простоты не больно задевало ее. Она думала, что уедет с Николаем Павловичем в Ленинград: "Вот там жизнь!"

Ей хотелось сладкого и поцелуев.

В комнату постепенно наползла темнота и тишина. Из приоткрытого окна неслош пурхающее тиканье кузнечиков.

— И ушел! — чувствуя, как кипящая кровь заливают все тело, прошептала она: Не любит!

— А же краснела! — она подскочила к зеркалу. Зеркало говорило то же.

"Зачем так голова трещит!" — Ханна кругом промлась

по комнате, выглянула в окно. Нет! Ничего не интересно! Что-то пропало! Она подошла к столу, взяла высокую фарфоровую чашку с остатками компота. Не допила. Дочка и снова легла.

Глядя в потолок, увидела в трещинках штукатурки кобродушного, толстого kota.

- Ты чего! - спросила она, волнуясь.

- Мям! - ответил кот горловым тенором: Мям! - и навалился ей на грудь. Вся в поту, Ханна проснулась. Разобрала постель и, раздевшись донага, села зашпатель на ночь косу. Снежные простыни мелким холодом покалывали кожу. Скоро закапав тонкий дождь, и Ханна, надев плащ, под руку с Николаем Павловичем вышла на улицу.

- ЛЕНИНГРАД! - объявил кто-то, как по радио.

- Элар! - спокойно ответила Ханна и теснее прижалась к спутнику.

Она была беременна, тепло жгло у нее под сердцем, невеличкосъ и даже, кажется, говорило. Сиданов бережно вел ее по тротуару, целовал на ходу руки. Словом они подошли к будке мороженщика. За прилавком стоял рижий молодец с чернильно-черными усами.

- Принет! - сказал он Николаю Павловичу, а Ханне подая большущий брикет пломбира.

- Ты как сад! - объяснил он, отталкивая деньги за покупку.

Вдруг откуда-то толпой побегали странно знакомо Ханне люди. Она заметалась. Впереди всех бежал ее отец. Лицо Моисея Соломоновича было не свекольного, как всегда цвета, а желтого. И одет он был во что-то желтое. И над головой держал не красную звезду, а живоно-желтую.

Ханна поняла, чем знакомы ей эти люди. Бегущие были евреи.

- Куда вы? - спросила она.

Ей не ответили. Люди молча бежали, жестикулировали на ходу лицами и исчезали мерно, будто за угол сворачивали, хотя улица была прямой и длинной.

Ханне стало холодно. Она оглинулась.

Николай Павлович, казалось, не уходил от нее, а уменьшался в размерах. Цепенев от ужаса, не смея рта раскрыть, хотя все существо ее надвигалось от безнадежного зова, смотрела Ханна, как Сняжков сначала стал величиной с мальчишку лет в пятнадцать, потом убавил росту еще лет на семь и, наконец, пропал вовсе.

— Коля! Колянька! — неожиданно вернулся к ней голос, да поздно было.

С горячим криком на губах Ханна и проснулась.

В доме уже все спали. Это чувствовалось по тому, какая цельная тишина стояла вокруг.

Едва успокоившись от сна, Ханна вспомнила, что сегодня обещал выйти Ольхин, но не пришел почему-то.

— Значит, так и надо! — подумала она.

Так растревоживший ее когда-то Михаил теперь уходил из нее легко, как и дружили они. Даже грусти по нему не было. Тело уже забывало его прикосновения, волнуясь неизвестным...

...Ханна сбросила на пол душное одеяло. Стало просторно и прохладно. Хотелось о чем-то счастливо мечтать, думать без конца и смысла, задыхаться предчувствиями и жить будущим.

— Он же придет! — уверенно прошептала она, вспомнив свои вечерние опасения: Он же обещался! И это будет не долго, а завтра!

И чтобы "завтра" наступило скорее, Ханна торопливо уснула. И спала уже без снов, с розовой улыбкой, прищипывая губами; спала, будто была в мягком солнечном луче сквозь миррады пылинки; спала до тех пор, пока не пришла мать и не сказала, что началась война.

Потом, боясь выходить на улицу, просидела весь день у окна: ждала. Слушала стонания матери, смотрела, как мчутся по улице эссы, думала, если через пятнадцать минут не придет, пойду искать.

И вечером она даже спала с лица и обожженными, безразличными глазами отвечала отцу с матерью. "Наверное убили!"

уверилась она, хотя, кроме суматохи, никаких признаков войны не видела.

Позвонившийся на пороге Ольхин, вызвав у нее приступ тонноты, и она ушла в себе раньше, чем это громогласно пригласила её мать.

Х

Что мог, приобняв за плечо подвыпившего соседа, хихикать ему вслед? Кому было упирать руки в боки и, шурясь, тинущим взглядом следить, как босыми, в кровь сбитыми ногами ступает по похуженным улицам Заборьевск Николай Павлович? Даже оконные занавески не провожали его жабонитной дрожью! Случившаяся заставка людей подумать о себе и от этого они стали строже. Им пришлось понять, что неста на кресте всем хватит и что путь к нему всего лишь тяжел, а не долог.

Симаков не помнил, как он добрался до дому. Он так устал, что потерял всякую способность чувствовать. Ему не хотелось ни есть, ни пить, ни спать. По инерции он зашел в свою комнату и лег. В доме было тихо, все двери стояли настежь, на обеденном столе восседал знакомый кругломорный кот.

Зонув Николай Павлович мгновенно, но казалось ему, что он еще идет торопливым шагом и болят израненные ноги, жжет солнце, слышен гул самолетов. "Зачем что-то делать? — ясно думал он: Ведь можно просто идти и идти ..."

Следующий день Николай Павлович прожил медленно: без дела бродил по городу, смотрел, слушал. Верду он оказывался лишним. Его не заметили, когда он, нацелившись, приподнял колесо чьей-то телеги, и она выскочила из колдобины; стрекунот-математик уверенно шмыгнул мимо; когда Симаков, задумавшись, натапливался на кого-нибудь, его не бранили, а обходящая полча, как столб. Он не обижался. "Что ж, — думал он, — мне нечего собирать и некуда багать!" Несколько раз он видел наездов. Они проходили громкой гурьбой, разглядывая прохожих, часто смеялись и, если бы не оружие

да форма, их можно было бы принять за обыкновенных туристов. Вообще же война как будто в сторону ушла. Люди что-то делали, куда-то шли, сквозь растерянность проступала система. Оказалось, что человеку вовсе не нужно столько вещей, сколько держит он обычно в дому. Дорогие шкафы, пыльно иногда стояли прямо на улице, и бакалии были по беззащитной клавиатуре кулаками, крошили нежное дерево. Несколько магазинов были разграблены, и такие личности торговали около развороченных витрин водкой. По ночам в дома ломались набитые мужики, называли себя партизанами и, угрожая топорами, рыскали по углам. Несколько обывателей таким образом были ограблены. Говорили, что евреев и коммунистов будут кастрировать, дабы не давали приплоду и не тормозили тем поступательное развитие естественно-исторического процесса. Нестами шумно занимались оставленные со всей утварью еврейские дома. Новые хозяева деловито шныряли по комнатам, купали диваны, перелили белье. Разом резко вздорожали продукты. За деньги уже ничего нельзя было купить. За мопсик купил требовали новый састонский костюм или золотые часы. По улицам всеяками ходил беспризорный мальчишечка. На него зло орали, поровали выпрять. Общим настроением была настороженность. Все, даже те, кто грабил магазины, занимая чужие квартиры, боялись выжужженных немцами уголовников. Про них рассказывали фантастические истории. Им приписывали все преступления, от них здали крови и невиданной жестокости. Однако, на самом деле, ширма эта была дутой... Никаных уголовников в городе не было. Гестаповцы, действительно, первым делом отперли тюрьму, но всех заключенных тотчас же вывезли куда-то за город для неведомых расследований.

В одну из ночей город бомбили, но пострадали одни административные здания, а именно, пустой обком партии и школа, где должен был работать Николай Павлович. Его мало тронуло это. Вопросы жизни и работы в нынешнем своем состоянии он считал преданными. Он думал, что спасти уже ничего нельзя. Быстрота человеческой приспособляемости воз-

мучала его. После того, что пережили они в лесу, все обаяно было остановиться, в запереть. Но нет! Жизнь шла своим чередом! Это словечко "жизнь" особенно раздражало Синакова. Он никак не мог соотнести с ним то, что видел вокруг и слышал. "Нет, здесь надобно другое! — яростно подмывал он: "Что угодно, травля, человеконенавистничество, Содом, только не жизнь! Вот! Борьба за существование! Все иное-миндальничанье! Жизнь видеть правду!" Но и эта находка мало успокаивала. Синаков не знал, куда себя деть. Оставаться более среди чужих страстей он не мог. Почти бегом побегом Николай Павлович домой.

Хозяйка на сей раз была во дворе. Увидев Синакова, она побелела и подала ему чинно вчетверо сложенный лист синеватой бумаги:

— Сказали у руки отдать! — прошептала она и заплакала: Катка Моска Ченстаховска, совсем молодой еще!

Сердце Николая Павловича застало в пустоте. "Ну, и конец!" — выдохнул он. Сердце сорвалось и понеслось вскачь. Он развернул лист.

Старенькая машинка набила так: Синакову Николаю Павловичу, учителю средней школы номер 3, явиться завтра в имперскую комендатуру города Заборьевска для ознакомления с новой должностью. Красным указывалось, какие документы он должен был взять с собой и время явки. В постскриптуме аккуратно говорилось, что всяческие попытки уклонения будут рассматриваться как намеренный саботаж и караться со всей строгостью военного положения. В правом нижнем углу была оттиснута красивая фиолетовая печать.

Николай Павлович сунул бумагу в нагрудный карман пиджака. Канцелярский русский язык документа облегчал его.

— Не плачьте, бабушка! Ничего страшного нет! — прокричал он в ухо хозяйке.

— Как же! Такой молодой!

— Ну уж нет! Работать на нас я не буду! Ищите лавочек в другом месте! — думал Синаков у себя в комнате, сидя за столом: Надо бежать! Непременно надо бежать! В лес! В поле! Куда угодно! Только бы чувствовать себя свободным!

Знать, что никто не может прийти к тебе и сказать: именем закона вы обязаны служить! Постарайтесь приступить! К черту! Но куда, куда убежишь? Где эта земля обетованная?!"

Он подошел к окну. Темнело. Бухали далекие выстрелы. На западе скользнула с неба оранжевая ракета. Что-то погасло и зашипело в груди Симакова. Он схватился за голову:

- Никуда ты не убежишь! Ты только планируешь строить умозаключения! Тебя с твоими ухватками первый же встречный солдат возьмет за ухо и, как мальчишку, приведет назад!

Он спихнул кулаки. На глаза ему попался нож.

- Нет! В горло- и конец! Тахо! Я никому не подвластен! Нет! Зачем? Если я откажусь от работы, они меня сами пристрелят! То же самоубийство! Только гораздо легче!

Потом ему стало стыдно такого детства и он рассмеялся: "Все не все! Ране! У меня ведь еще есть пуговина! - бормотая, как в бреду Николай Павлович, наспех одеваясь: Только надобно успеть, успеть и понять, а там, хоть в петлю головой! Независимо!"

Он бросился на улицу.

"Может, уже спать легли? - подумал Симаков, подходя к дому Ханни. - Вроде, нет". Из-за ставня падал на траву желтый илистый свет.

- Свои! Отоприте! - закричал Николай Павлович, колотя илистой в самодельную, обитую клеенкой дверь. Ему долго никто не отвечал. Наконец, по ту сторону послышалось шорох, шепот, причмокивания и кашель:

- Ну, и кто там стучит? Разве все порядочные люди уже не спят? - спрашивая из-за двери не то мужской, не то женский голос.

- Впустите! Я умоляю вас! Мне очень надо видеть Ханну! - теряя надежду, вскрикнул Симаков.

В ответ что-то глухо ухнуло в нем, зашкряпало, зашкряпало и еще через несколько минут дверь выпустила узенькую полосочку света. Николай Павлович с трудом протиснулся в сени. Перед ним стоял Моисей Соломонович:

- А? Такой приличный молодой человек и так стучит! -

говоря он, подозрительно глядя на Смакова: Сара, ты слушаешь? Тут пришли и Ханночке. Так что мне с ним делать, если девочка боится?

— Я знаю, что ему делать? Ну пускай, раз уж открыл двери!

Увидев Николая Павловича, Сарра смягчилась:

— Ну и сказали бы сразу? Ки думали — это они! — последнее слово она прошептала.

Смаков быстро прошел в комнату Ханны. Если бы не тусклая керосиновая лампочка на столыке у изголовья кровати, там было бы совсем темно. Ханна лежала, откинув голову на высокую подушку, бледная и тихая; глаза ее в неверном свете переливались испраши.

Вдруг, вот рукой подать, Николай Павлович почувствовал слезы. Он потерянно улыбнулся:

— Ну вот и я! Вы ... вы ...

Ханна протянула ему руки.

— Это ничего, ничего, — торопился, зарывшись лицом в ее волосы, Смаков, — это пройдет, вечного на земле нет, кончится и война, и беды наши... Мне только знать надо, что люблю я, что нужен кому-то! Я многое могу, честное слово, и для вас буду всем, всем... Но вы любите меня... Пожалуйста... мне это ничче необходимо! — он высвободился из ее горячих, круглых рук и печально улыбнулся. — А то ведь я и помереть могу...

— Нет! Нет! — Ханна быстро села и подтянула к горлу одеяло. Движения ее стали старше. Женщина в тоске держала голову любимого на ладонях: Глушецкий! Я буду с тобой везде! Похудеи! Бедняшка! — Она радостно, открыто зарыдала: А я все думала, думала, даже голова заболела. Где он? Что с ним? Маня говорит: придет, а я верить боялась! А он живой! Я больше не буду плакать! Никогда!

— Ханна! — позвал Смаков, закуривая, пальцы его дрожали; Ханна! Ты забыть меня сможешь?

— Забыть?... Как это? ... Я ... не понимаю...

— А вот так! Будто меня и не было здесь! Будто я

тебе приснился.

- Что ты, что ты, родненький? Что ты говоришь? А? Ты хочешь поддурить меня? Ты понарошке?

- Подожди, Ханна, подожди. Ты ничего не поняла! Я... просто спросить хотел, жить без меня ты сможешь? Другой может оказаться лучше. А? Я не про сейчас говорю, — он осторожно заглянул ей в глаза, — а вообще...

Ханна с неожиданной силой оттолкнула Николая Павловича. Сухая улыбка оскла ее губы:

- Можешь сразу уходить! Двери открыты! Пошла! У-у-у!

- Да нет же, нет! Эй! Ну как тебе объяснить? Не потому, что я мало тебя люблю, нет, жизнь так складывается. Вот помнишь, когда я в последний раз у тебя был, просил, уговаривал выбросить чепуху из головы. Аи видишь, чепуха сильнее нас! Так мы вроде бы и умны, а против пустяка руки опускаются. Я ниче тоже в ерунде запутался! Мне немцы завтра работу дать!

Ханна спрыгнула на пол. Она была в старенькой ночной сорочке с вышитыми на груди розами:

- Надо бежать! Счас же!

Сняков развел руками:

- Куда? Я уже все переделал! Никуда! Послушай, я решил: откажусь от работы, они меня расстреляют! Ну!

- И все! И это все! И больше ничего не будет? И ты пришел МНЕ это сказать! Эй! Кама! Я-то думала он умный! Нет! Нет! Нет! Дурачок, подожди, подожди, хоть немножко! Пожалей меня! Ну не можешь! Ты же не один счас, нас надо своих беречь...

Николай Павлович слушал ее обмолнув. "Ну вот и все, — думал он, — и здесь я уже не волен!" Тем не менее, это радовало его. "А, что, если, действительно, подождать, посмотреть. С плеча рубить не хитрое дело. Может, где-нибудь и выход есть".

Он встал и обнял Ханну:

- Радость моя! Звездочка! Ну-ну-ну-ну! Я придумаю, придумаю! Не для себя. Тебе! Пока мы с тобой, я жить буду. Буду, чего бы это ни стоило! — он целовал ее горя-

что реки, волосья и знал, что стал больше, что мир вокруг
тоже раздался и что каждая близинная земная так же вот тя-
нется к нему на грудь, как доверчиво ложит на ней Ханна.

— Мама! — позвала Ханна в этом мире: Мама, поздно
уже. Постели Николай Павловичу в зале.

XI

В кабинете директора музея поставили откинутый за-
ленным сукном стол. Сняли со стены портрет человека с уса-
ми и, точно таких же размеров, повесили портрет человека
с усами. Снял ватную матовый или шерстяной портрет.
От них в комнате стоял угрюмый полумрак.

В кресле боком, видимо, не доставая до пола ногами,
сидел офицер в черном мундире. Поблескивая наголо бритой
головой, он плавно водил пером по бумаге.

Сиваков потоптался на месте.

Офицер разогнул спину и встал. Ничего немецкого во
внешности его не было. Невысокого роста, полный, с красно-
палыми коротенькими ручками и бледным неясным лицом, он
скорее напоминал какого-нибудь среднерусского счетовода,
начальника военачальника прусской армии.

— Только не вздумайте, ради бога "жирекать", — сказал
он, радушно улыбаясь, по-русски: Это может испортить наши
отношения: я — большой поклонник настоящего "платтдейча",
а иностранцам наши тонкости не под силу.

Николай Павлович чувствовал, что не может рта рас-
крыть. Ему казался казарменный прием, грубые окрики, какой-
нибудь кура-переводчик...

— Располагайтесь поудобнее. Сигареты? Или по-русски
любите папиросы? Вот я без сигар не живу! Цигарки!

Неестественно прямо Сиваков сел.

— Ну, давайте сравниваем в наших правах. Ведь я знаю
и фамилию вашу, и имя-отчество, и должность. Зильгельм
фон Кеттель, итурибанфирер СС, глава адонской эйзэнцкоман-
дой. Немного не по профилю работа, но интересно! Очень!

— Я бы хотел... Чему обязан... Зачем меня вызвали?

— Понимаю, не спали ночь, думали, гадали. Не волнуй-

тес! Все овеки созревает в свой срок! Видите, — он доверительно приглушил свой сочный, радостной окраски баритом и ткнул ручкой в книгу разноцветных панси на столе, — знакомились! Читаю и так и этак! Минут, знаете, всякое! А я уже привык верить первому чувству, оно точнее! Вот написано: Симанов Николай Павлович... так... так... так... ага, не член комсомольской организации, в общественной жизни пассивен, вообще замкнут, коллектива сторонится. Согласитесь, что глупо. Человек — понятие диалектическое, развивающееся. А тут все расписано жеманно-то метафизиком: пассивен... замкнут... Не навсегда же! Может, просто вашу тонкую струну никто не задел?

— Не задел? — переспросил ровным голосом Николай Павлович. Он словно забыл, где находится. Было только простое желание все отрицать. Ему казалось, что розовые пальчики Кеттеля слишком близко подобралось к горлу: Не задел, значит! А вы что — в сказану подсматривали? Вам что за дело? Вы — палец! Вы позволяете себе выдвигаться со мной, прекрасно зная, что я у вас — как горошина на столе. Раз, и смахнул! Но не воображайте, пожалуйста, что я у вас наизнанку! Там, в панках многое написано, да не все! А всего вам не узнать! Для этого ключ надо иметь, а не отмычки!

— Естаты! — казалось, что это слово вырвалось из репродуктора, настолько было оно отягчено металлом: Смирно! В армии не служили! Мальчишка!

Но чувствуя себя, медленнее и увереннее, как лунатик, Симанов поднялся. Кабинет занутился в тишину. С залитой солнцем, свободной улицы дико выдохнула куры. Квотанье становилось сильнее, сильнее, росло, смеялось...

— Вот и ладно! Садитесь! А нервы берегите! Вы — человек молодой, и они вам еще ой как пригодятся. — Кеттель стер добрую, смешливую слезу: Не смущал, думал, а не ожидал. Не сердатесь. Вы разгневались, а я помутел. Каждому свое!

Николай Павлович был раздавлен. Холодом залило его. Он сидел уже не прямо и сухо, а будто распался в кресле.

- Зачем я вам? - спросил он, тяжело моргая. - Что мне вас русскому языку учить, что ли?

Кеттель будто не слышал. Он встал, подошел к окну, откинув штору, взглянул на улицу. В дневном свете голова его казалась лакированной.

- Я бы хотел, чтобы вы подчинялись не великой нации, не могущественной армии, стоящей за мои плечи, а лично мне! Человеку! Индивидууму! - Он повернулся. - Мне нужно, чтобы вы сами осознали свою неполноценность. Понимаете? Своим неумением быть великим, стоять над обстоятельствами! Даже не неумение, а ... черт ... не могу подобрать подходящего русского слова... Ну, учитель!

- Непригодности!

- Именно! Непригодность вас, как представителя определенного народа, властвовать, покорять. Как видите, это легко доказать!

Сняков усмехнулся:

- У нас в России это называется: из пухляков по воробьям!

Кеттель прищурился:

- А иначе - зачем пушки? Нет, только по воробьям, только! И великим станет тот, кому подчинятся эти малые птицы, ибо великого или даже просто умного всегда можно уговорить. Дайте ему лишь фактов побольше, а нужные выводы он сам сделает! Разум многолик! Так что вы себя и мелочи напрасно причисляете, у нас для них есть пушки!

Он взял сигару и, раскуривая ее, добавил: Убежденное покорение! Не правда ли?

Николай Павлович молчал. Еще с первых минут своих в кабинете он, глядя на Эвальгельма фон Кеттеля, никак не мог отделаться от одра уловимого оттенка странности, каким отдавала внешность этого русскоподобного немца. Сейчас Снякова будто осенило. Когда Кеттель находил в тени, сквозь кожу лица его легко проступал костяк, череп, и с любопытством смотрел на собеседника, немало не стеснялся тем, что делали в этот миг морщины: собирались ли

в улыбку или растягивались равнодушием. Стыдилось это только внимательному глазу, зато действовало без промаха! Сначала посетитель просто ломал себе голову: "Где я мог видеть этого человека?" Потом нечто неясное закрепивалось в мысли; сильнее билось сердце, еще немного... случайная тень падала на лицо итурибанфрера и разгадка ледяной дробью принимала несчастного. Иногда могло показаться, что Кеттель знает о своем сходстве...

Николай Павлович перевел дыхание:

— Все-таки любопытно,— сказал он, в пол упирая глаза,— если вы каждого будете так вот обрабатывать, на сколько же времени растянется тогда ваш "блицкриг" и что вы станете делать с вновь обращениями? Таскать за собой в качестве неглядного примера собственной избранности и силы? Или, может быть, развесите всех сознанных, как сосиски, на городских площадях, с тем, чтобы соотечественники могли ими гордиться?

Кеттель пыхнул дыком. Нежная розовая краска залила тщательно пробритые складки его лица:

— Верно! Вопрос задан верно! — Он любовно подергал кисти рук одна в другой и бросил. — С удовольствием отвечу. Вы мной, ради бога, Вермахт не мариате! Я, может, поспешия родиться! — Тока скользнула по его крупным веселым глазам. — Человечеству свойственно отставать от Человека! К тому же нас, верно, и пронаганда ваша дезориентировала. Что такое, по-вашему, национал-социализм? Ну, знаете, вы же тоже социалисты!

Николай Павлович замаяла. В голове наслось какие-то совершенно школьные подробности. Подлог Рейхстага, речь Димитрова, путч 33-го года, свастика... Он беспомощно пошевелился...

— Ага, свастика! — радостно, словно подделывать удалось, вскричал Кеттель: Так это один из первых на земле символов Вечности! Это следствие, а не причина!..

— ...Социализм для немцев! — неожиданно прервал его Сиванов.

Кеттель снисходительно дернул губой:

— Ни в коем случае! Национал-социализм не есть движение! Ничего общего! Мы, — тут голос его дал скачка, — мы — новая эра! До нас изобретали орудия производства, мы открыли производителя! Человека! Абсолютно нового! Не думайте, что этот человек — немец! Арийец! Вот его настоящее имя! В германской расе лишь наиболее часто встречается его низшая разновидность. Настоящих арийцев, — четко, как суфлер, презентая он, — в Германии так же мало, как и на всем земном шаре!

Глава Кеттеля застыла, как два сгустка черной чистой смолы. Было видно, как лихнут к ним отражения стен, стола, стульев. "Это безумец!" — Приходило иногда Симякову на ум, но он гнал от себя сомнения. "Я буду знать, а все буду знать!" — твердил он про себя.

Кеттель помолчал и спокойнее продолжил:

— Арийец — высшая ступень человека! И во имя его, в поте лица мы ведем черновую работу по отбору: уничтожаем поляков, евреев, цыган, русских. Подождите, скоро эта работа будет кончена! И тогда придут настоящие специалисты, и явятся лишь их жалкой предтечей! О! И тогда, где бы не нашли Единственного, достойного жить, Арийца, ему скажут: Ты — будущее! Иди и повелевай! Тебя ждут и тебе жаждут поклоняться и служить! ... Так не смотрите же по-филистерски на великую работу! Найдите в себе мужество и поверьте ПЛАНЦИНУ, а не жалким утешениям земных сонных философов! Верно стоит плечом!

— А вам себя расхвалить на плечах не жалко? — язвительно, как ему показалось, спросил Николай Павлович.

— Хорошо спрашиваете, да плохо понимаете! Так что ли у вас говорят!

— Не знаю! Не слышал!

— Ну, ладно! Плечом уничтожает действующая армия! У меня другое. Не совсем то, что хотелось бы! Да... — он как будто обиделся. — Мы уничтожаем или переубеждаем анаконислящих. В нашем случае анаконислящие — тол, динамит! Рабочий класс, крестьяне и прочее простоявшее было всег-

да пушки. Их отсортуют, почистят, пригладят и пойдут они в дело, как иголочки! Они не опасны! Ведь главное, что? Вы смотрите шире! В интересах рабочей скотины, как ни странно, идет сейчас борьба. Борьба за право быть рабом! Вы, Николай Павлович, вероятно, считаете, что эксплуатируют лишь те, у кого есть акции, фабрики, заводы, банки? Не только, не только! Угловый, в примеру, зарабатывая себе на хлеб, подвергаясь эксплуатации своего хозяина, и сам эксплуатирует того, кто изобрел ему лопату, сапожника, электрический фонарик, то есть интеллигенцию, которая этого не знает, а если и узнает, так лишь обрадуется, ибо ее сознание тогда будет иметь право на социальный покой. Понимаете? — Кеттель спрашивал серьезно, но углуб его заразительно подрагивали.

Симонов кивнул.

— Так что наша борьба с вашим государством (оставим в стороне пушки, танки и прочее) суть борьба интеллигенции. Самоутверждение идей, стремящихся быть эксплуататорскими, иначе они не работают.. Вот почему мы прежде всего берем на учет людей умственного труда. К тут вам слуга на передовой. — Вильгельм фон Кеттель церемонно симпро-визировал поклон.

— Спасибо за честь, — сказал Николай Павлович, глядя на него белыми, бешеными глазами, — за заботу, за заботу! Может теперь, кончив лекцию, вы все-таки скажете, чем могу быть полезен! — Не удержавшись, он срывая зубы и почти закричал: — Вешайте меня! Вешайте! Я больше не могу так!...

Он думал сейчас, что все происходящее на фронте — ерунда! Самолеты, танки, пушки наливается огнем и бьют, бьют, а что делать мне? Бессилие, беспомощность были ему тогда пытки. Глухие слова лезли в голову. Кусая губы, он понимал, что на доводи немца может ответить только истерикой.

Кеттель набрал ладонистых морщинок у глаз и горсть:

— Только не это! Уверен вас, вы еще можете пригодиться! Не у нас, так там, у своих! Потенциально вы принадлежите любой стороне, только не той, за которой записаны. Тихе! Тихе! Тихе! А на первый вопрос отвечу. Правитесь вы мне! Доверяю я вам! — Он виновато, как бы говоря: "Чтож, у каждого есть свои слабости!" — улыбнулся: Я это еще из бумаг понял, а теперь просто уверен! К тому же будь ты, хоть сони пядей во лбу, в одиночку всего не осилишь... Да... Минуточку. В этих районах живет по нашим данным масса евреев. А я как раз работаю над вопросами расовой психологии у народов еврейского происхождения. — Он немного смутился: Понимаете? Попутно возникает ряд интересных проблем. Вот, в частности, недавно столкнулся с совершенно неизученным разделом: "Половое влечение и расовая предубежденность." А? Занятно до чертиков! Карсы, грешни! Захотелось, знаете, чистой науки! Систематических опытов, наблюдений... А тут все дела... дела... дела. Может, можете? За материал ручаюсь! Красивейшие девушки будут в нашем распоряжении! Такое подберем, ай, ай...

Кровь залила кабинет. Ее почти черные сгустки плавно струились с потолка, сверкая огибали старинную лепнину в углах, розовым потоком мелевались на дубовой панели и медленно расплывались по полу. Вот уже только крохотный островочек остался у ног Николая Павловича. Вот уже и нет его и горячо стало ногам. Минут к телу брешь, белье, рубаха... И нечем дышать... И душит тепло, забивая горло, пахнет соевыми, дергается в глазах невыносимо цветные фигурки... Открыть бы окно, да кровь везде, кровь!.. Вон в крови по горло Ханна! Едет куда-то! Не дождет!...

...Лучистый, внимательный взгляд открылся Николаю Павловичу.

— Заговорила, конечно, заговорила, а вы с утра, верно, ничего не ели, да еще и накурились. Вот, возьмите! — Кеттель протягивал чашечку ароматного кофе. — Выпейте! Натуральный! Немецкий! Бать еще и бутерброды. Хотите? Ну хотите же! Не стесняйтесь!

- Простить прошу! - сказал Смаков, отирая вымокшие лоб и щеки. Он чувствовал, что глаза его никак не могут остановиться. Они бегали из стороны в сторону. С отчаянной решимостью бросались на лицо Кеттеля, не выдерживали, карабкались по вторым и, усталые, с ревом в щеках возвращались на стол, где горько дымящая кофе. Николай Павлович прикрыл их ладонью. "Надо быть сдержанным в ушах, - приказал он себе, - надо думать только о деле! Надо увести его в сторону..."

- Ну, как? - обил его с мысли Кеттель, анематично прихлебывая из чашечки. - Лучше стало? Мне, знаете, эта ваша физическая откровенность импонирует! С одной стороны, это, правда, признак поверхностного подхода к действительности, но с другой - приятно! Согласитесь, вы предполагаете что-то давно предуманное, сформировавшееся, а в ответ замаскировали, приняв реакцию! Вы мне польстили! Право слово! Я смотрю на вас и думаю, вот где золотая жила для энциклопедии! - Он развеселился, снова, как давеча, схватил руки одна в другую, подержал их над головой, бросил, подскочил к окну, отдернул вторую, отворил створку:

- Дышите!

- А что, здорово получается! - промолвил Смаков. После кофе он, словно, озяб. - Я без вас и жить, и работать могу, а вам без меня, ровно, чего-то не хватает?!

Глаза Кеттеля закинули темным:

- Я, знаете, меньше всего думаю - нужны вы мне или не нужны! Выбор есть! Я спрашиваю, вы согласны со мной работать?

- Вильгельм фон Кеттель, - по складам произнес Николай Павлович, - возьмите бутерброд! Я думаю, зады не стоят такого волнения! Не в них счастье аристократа!

Он встал в кресло так, что испугался, как бы оно под ним не рассыпалось и откинулось вперед.

Кеттель расхохотался:

- Не любите? - игриво, будто щекоча, спросил он. - Я знал об этом, да в открытую не спрашивал. Ну, сиюминутно!

Смаков выдохнул:

— Совло!

Кеттель отомел в окно:

— Я много читал о Белоруссии,— он, шурясь, смотрел куда-то далеко,— не понравилась же за то, что она напоминает мне Саксонию. Такие же лесные перелески и уютные поляны...

— Вы, во всему, еще и поэт?

— Нет, уж увольте! Поэзия, по-моему, признак слабости. Страну, имеющую много великих поэтов, всегда легко завоевать. Например, Франция! Так вот! — Он на каблуках повернулся. — Вы придете сюда ровно через неделю— сейчас мне некогда. Не задумайте скрывать! — В голосе его опять зазвучала небрана. — Вас мгновенно развудут и тогда с вами произойдет то, о чем вы только что бредили. Будет кровь, кровь и еще раз кровь! Ясно? Придете не один... — Он наклонился над столом, что-то помучал, раздавался далекий звонок. На порог лихо стал хорошенький, молоденький офицерик. Кеттель заговорил по-немецки.

— Ясно! — Офицерик исчез.

Через минуту дверь снова отворилась и вытолкнула на ковер стрекуниста-математика. Он поздоровался и стал навзничку у окна.

— Вы говорили мне, что Симаков пытался флиртовать с некоей Ханной Соколовчик?— спросил Кеттель, глядя на Николая Павловича.

— Ну! — согласился математик бойким тоном и тоже посмотрел на Симакова честными, открытыми глазами.

— Не отец-сапожник?

— Да вот!— математик хотел было разуться.

Стурбанферер поморщился и тиснул киолку. Стрекуниста увели.

— Теперь, я думаю, вы поняли, зачем была нужна наша пространная беседа?

— Одно только слово! — цепляясь языком за губы, попросил Николай Павлович. — Вы нас оразу же и расстреляете!

Кеттель подошел к нему вплотную:

— Вотаньте,— сказал он на ухо Симакову.

По уходе Симакоса, Кеттель, настежь распахнув окна и дверь, проветрил кабинет. Потом что-то долго писал. Казалось, стурманфрер очень доволен. Черен сошел с лица его, глаза стали прозрачнее. Толстые буквы лились с пера добротной перенгой, складывались в строки, строки в абзацы, абзацы в листы. Кеттель улыбался и потирал себя подмышками.

"Майн Готт! — иногда срывалось с его бледных губ. — Какой материал! Нет! Наука такого еще не знала!"

Он лег спать поздно и во сне робко улыбался в прохладную полотняную наволочку. День был не зря прожит!

Мраморные ступени лестницы были обтянуты обитым розовым ковром. Ковер держали блестящие медные прутья. Кое-где прутьев не было, ткань текла быстрой линией вниз, легко было упасть. Николай Павлович спустился благополучно.

У выхода солдат забрал у него пропуск.

Симакос оттянул дверь на себя и замурлыкал. Елица бросилась на него. Бежал мальчишка с прутиком, стегал какого-то врага, орал, будто его резали; громко есорились куры; пожилая женщина в переднике с истеричным скрипом протирала окна своего домика, заклеивала их крест-накрест полосками бумаги; начинала козиданная корова.

— О-о-о-о! — Николай Павлович ухватил уши ладонями и сел в пыль под забор.

— Как жить будем? — спросил он сам себя и не ответил.

Потом вдруг решил, что надо терпиться. Бежать, говорить, прятаться! Бездействовать более нельзя.

Он побежал к дому Ханны. Совсем было собрался постучать, да испугался родителей. С ними о чем-то надо говорить. Свернул в проулок, потоптался в серых лопухах и, заробев подовзрительных взглядов, повернул назад. Дом Соловейчиков стоял тихий и загадочный, как необитаемый остров,

ставки были закрыты, во дворе дремала сонная летняя олура.

Николай Павлович прикинул, выходит ли на улицу еще Ханна. Окабалось — выходит. На цыпочках подошел к стене, сложил востанки пальцев, поднял руку... Гуляне, в конце пустой улицы застучали шаги. Симанов отскочил в сторону, правозачну, не оглядываясь, пошел вперед. Шаги захлебнулись в окрине каалити.

— Надо похдаться тамноты! — отругал себя Симанов. Оставалось еще два часа. Он вдоль и поперек походил все окрестные улицы. Он физически чувствовал, как отпадают куда-то с тоненьким пискон секунды, медлительно капают минуты... Наконец, ухнул час. Небо опустелось ниже, с земли, будто редкая пыль, поднялась. Все смемалось. Начало смеркаться. Николай Павлович принял ухом в ставне. Будто двигает что-то неулавие. Он постучал. Еще. За стеной затихли.

— Кто это? — спросил знакомый голос.

— Ханна, старой! — презентал, озирался, Симанов. Его начало трести снова.

Стукинули створки. Молча, словно встреча была уговорена, приняла Ханна на руки голову его и поцеловала в губы.

— Светлая моя! Скорее, ради бога! — торопливо бормотал Николай Павлович.

— Все хорошо? — спросила Ханна, глядя на него, свежими глазами.

— Можно, я влезу? — не ответил он.

Ханна кивнула:

— Ага.

Робко для фитиль в лампе. Тени ползали по чисто выбеленным стенам, пахло волохистым, тугим деревом промного до блеска пола. Ханна стояла, не зная куда деть руки, растерявшиеся из прически волосом трепетали на плечах. Вся она была очерчена одной неуверенной, доверчивой линией. Николай Павлович без сил опустился на шаткий венский стул, упрятал в колени зазаване руки и понял, что ничего он Ханне сказать не может! "Да легче убить!" — подумал он, и сердце его горячо захлебнулось.

Родинка на щеке Ханны ошма:

— Ну, как немцы?— спросила она, дотрагиваясь до его руки. Возмущалась она неизменно, сотни раз повторяла про себя этот вопрос, но сейчас он скользнул с губ просто, будто о погоде спрашивала.

— Немцы!— тотчас же за ней, буква в букву, повторил Симаков. Его знобило. Изнутри поднималась тупая злоба, злоба на бессовестно устроенный мир, на то, что подчиниться надо, и на себя, труса! — Ах да, немцы! А там один немец был. Всего один, но и одного достаточно! Да! Образованный человек! Им с ним все философские проблемы разрешали. Вернее, он разрешал, а я понаживал! Я расскажу... сейчас... дай только мне попить... горяченького...

Ханна принесла еще не остывший компот.

"Это было тысячу лет назад!"— подумал Николай Павлович, узнав ферфоровую чашку.

— Ты знаешь, что он сказал мне? Здесь оказывается будут ставить опыты, которые, наконец-то, разрешат великую загадку науки, а именно: могут ли мужчины и женщины разных рас сплетаться друг с другом!

— Которые могут сплетаться?— Ханна удивленно подняла брови: Как это?

— Как? А так. Как Сокомен и Суланифы! Как твой отец с матерью, когда были молоды,— он отвел глаза от ее застывшего, вопрошающего лица. — Только тогда за ними никто не наблюдал! Понимаешь?— Симаков отставил далеко на скатерть компот и, ломая спички, закурил. — Этот, с позволения сказать ум, ученый, этот сукин сын, в увеличительное стекло намеревается наблюдать, как человек спаривается! Вот его гениальнейшее открытие!

Ханна отрянула. Она поняла скорее с голоса, чем со смысла. Она даже забыла смутиться, как боялся того Симаков.

— И все... — Она загнулась и неуверенно покраснела.— И все... при... под стеклом... делать?

— Хм! Еще бы! В том-то вся и суть! Ах, свотина! Нет, никак в мою голову не укладывается! Не могу я принять этого! Ведь кто бы ты ни был, русский, еврей, немец, эскимос, ты же прежде всего— человек! Как это можно! Неприкос-

повенна человеческая природа! А? — Николай Павлович подавился. В горле что-то згло. Он уже видел перед собой обрыв. Еще немного и он, забыв все, попытается вник и в алчные историчные слова и скажет ей в светлые глаза правду!

— Коленька! — тускло сказала Анна.

— Что? Повтори!

— Ахив! — будто сама с собой, нараспев повторила она.

— Он все может! Только ты — неверующий!

— Христос! — вскрикнула Синаков. Он, казалось, что-то припоминал.

— Это у вас!

— Ахив, Христос, — повторил Николай Павлович про себя, — Ахив, Христос... и... и... Каттелы! Ах ты, мать честная! Вот за что и его так ненавижу! Ахив, Христос, Каттелы! Ведь он при мне на одну доску с богом, в которого мы не веруем, становился! Занимал то место, которое мы всегда поденудно для себя оставляли, на случай соборной избранности!

— Коли! — она впервые назвала его так. — Коленька, скажи мне всю правду. Это до нас касается?

"Сейчас, сейчас, в другой раз не смогу!" — пронеслось в голове Синакова. Он неуверенно улыбнулся:

— Да-а-а-а... Нет! — собрал себя вместе в один звук, почти выкрикнув; он и не понял, почему в ответ Анна улыбнулась.

— У меня сердце чувствовало, что это так! — сказала благодарно она, глядя его локтем, глаза гибкими, будто дышащими, пальцами. — Все стучалось, стучалось, — она прижала его локоть к груди, — Вот и прошло!

Главен Николай Павловича стало тесно. Они судорожно сожались и пережались и отстранялись. Сердце отсутствовало его мучить. Он из всех сил прижался к Анне. Ему думалось, что это доброе, теплое тело надежнее всего в мире, где он только секрет, чужой, в чужом городе.

"И еще скажу, — грезил он, не замечая слез, — только не сегодня, не сегодня, погода. Ведь впереди — целая неделя!"

— А завтра мы все намке скажем, — объяснила ему, как

маленькому, Ханна, — придет и скажем: теперь война, война, к работе идти не надо, надо только любить друг друга. Приведа? Мы никого не трогаем, пускай и нас никто не чапает!

XIX

Утром густые туманы наполнили комнату. Стали до потолка. Принесли с собой оторванье прибрежных лугов, едкий дымом позабытых костров, одиночество. Съели они стол, стены, окно с притихшей за окном улицей. В тишине загорелся голубой парик на диване. Немо, слезливое, желтое звезда; скорее нимо: человек — бродяга во вселенной! Где ты, тоска, желанный берег земного сердца! Без тебя необитаема радость! Когда глаза полны белой копной печалью, живите живущие! И плачьте, если покажут вам где-нибудь бесконечное, плачьте, ибо только на дороге своя ветерина!

«Некуда мне идти, — думал Симакор, — да и незачем!»

Поверх одеяла легал он с потухшей сигаретой. Ханна спала рядом, скользкая сонная рыба по ее коже. Стояли, как круги на воде, сосны; грудь дышала открыто, ровно; лопатки, еще девичьи бедра, светились в темноте, как теплые парные молоко. Николай Павлович боялся пошевелиться. Он не охранял сейчас Ханну, он жил ее присутствием, был захлеб, забит, как узка эта блестящая грань, как игнорированное место встречи.

Возвращалась к нему мука и спрашивала:

— Почему не сказал ты ей всего, что знаешь?

— Я же не солгал, — защищался Симакор. — Я просто умолчал. У меня впереди целая неделя. Я все сделаю.

Печальный голос прекрасной женщины засмеялся в ответ ему:

— Все ты знаешь: жизнь — не черновик, возвращаться и переделывать нельзя!

— Зачем же переделывать? Все будет прямо наболо! Я скажу ей прямо в глаза!

— Это будет убийство! — напомнили ему.

— Это будет самоубийство! — резко сказал Николай Павлович. Он явно начинал злиться: Поэмы, мне хуже, чем ей,

ине! Я все понимаю и знаю!

- Что из этого?

Действительно: что? Разве расплата обойдет Ханну? Разве скажут ей: иди, ты ничего не знала, не понимала. Симакон ответит на все сполна! Нет! Нет! Нет! И утро уже близко. Нужно будет смотреть в лицо ее старикам, улыбаться, что-то делать, говорить о будущем!

Мелькнула остренькая мысль: бежать!

- От себя? - вслух сказал Николай Павлович и подошел к окну.

Утро вставало со своего вавочного места востанное, серебряное. Уже надпрыгивали пазухи, свободные, длинные птицы пробовали голоса, крались вдоль налесадииков какой-то мушнина. Как будто не было оккупации и войны, будто не стоял у горла вопрос жизни... Все вокруг казалось Симакону решенным и окончательным, только его развороченная душа, куда ни вишь, встала на на месте, саднила и захлебывалась горчайшей на земле горечью - кровью неутоленного, оставленного надеждами сердца.

Он вернулся к постели, наклонился над Ханной:

- Прости меня! - сказал он, чувствуя, как боксея, как лопочет его гомсе. - Прости! Я лучше быть не могу! Я не Бхве, который все может, я - человек! Я могу любить и сомневаться... Ты бы поняла меня...

Он медленно оделся, выглянул на улицу: пусто. Чиркнул спичкой, закурил...

- Куда ты? - раздалось у него на спинной. Ханна стояла на постели, обхватила груди ладошками.

Улыбаясь, Николай Павлович чувствовал боль на лице. Он сказал:

- Уже поздно! Наверное, скоро встанут родители.

- Пускай! - ответила Ханна. - Пускай все знает!

Из соседней комнаты слышен был говор и шаги. Ханна встала оделась и, держа Симаконна за указательный палец, вышла в залу. Моисей Соломонович, как обычно, сидел на своем черном диванчике и ожидал. Лицо у него было, разве что, немого, краснее, чем всегда. Сарра стояла спиной к нему у окна, плечи ее колыхались. Так же не оборачивалась,

она сказала Ханне что-то по-еврейски. Та, видимо, не все перевела:

- Мамка говорит, что всех наших евреев будут угонять в Германию. Нам надо бежать.

"Пусть все идет, как идет!" - подумал Николай Павлович.

- Я люблю вашу дочь! - сказал он Моисей Соломоновичу. - Мы с ней поженемся и будем вместе, что бы ни случилось! Не бойтесь, немцы ее не тронут! Я буду работать у них... Скоро...

Он верил себе, когда говорил, он видел будущее и хотел жить в нем.

- Сара? Я сказал нет? - спросил Моисей Соломонович и развел руками. - Я молчал, как фаршированная рыба! Хорошо Ханночке, значит и мне хорошо! Когда б моя бабушка, он сказал бы против! Я говорю, как Ханна! Ей надо жить!

- Ей надо жить! - не выдержала Сарра. - Нет, вы только послушайте! Ей надо жить, а из нас нехай делает иллы! Доченька! - она прижала Ханну к своей квадратной груди. - Доченька! Идем с мамой. Хоть умрем, так вместе! У меня сердце успокоится!

Ханна отвернулась.

- Это вы! - Сарра подошлась к Симанову. - Это все ваша работа! Она так мне ослухалась! Что нам надо из-под нее? Уйдите из моего дому!

- Мамка, мамочка! Замолчи, мамка! Я тогда тоже уйду! Моисей Соломонович перестал свистеть:

- Сарри! Я говорю, отдай Ханночке ее счастье, а с нас хватит нашего горя! Разве она дурная? Или она не знает, где ей лучше!

Видимо, за ним всегда оставалось последнее слово. Сарра подчинилась и в сердцах ушла накрывать на стол. После завтрака, вымыв посуду, она усадила молодых напротив себя.

- И что же делать? - В горле у Сарри что-то булькнуло.

- Как надо идти! А-а-а-а, что он знает! - кивнула она на Моисей Соломоновича: Дурни! Вас всех поубивают! Чтоб я так жила! Я на вас накричала, как matka, не слушайте! У меня Ханночка одна, нехай и у вас она одна будет! На вас

воля думка!

Она ткнулась в набитый подбородок Николай Павловича и вышла вон.

Симаков ждал, что старики будут конаться немощно. Это томил его условность сборов, прощания. Он даже толком не понимал, зачем уходят Моисей Соломонович и Сарра. "Но все ли равно, где умирать!" — думал он.

Старики уходили во второй половине дня. Против ожидания, собрались быстро и взяли с собой мало: повесь, швейцотый отрез для обмена на еду ^{древес} и ~~древес~~ деревянные, сомнительные очень, драгоценности. Все делалось так, будто когда-то давно это уже было. Суматоха прощания, ничтожная тяжесть пожитков, злые, сухие глаза по сторонам. День — по колено, а ночь — по горло!

Ханна ходила по дому тихая, прикусив нижнюю губку. Моисей Соломонович песняствовал. Только у Сарры глаза, будто умерли.

Симаков и Ханна пошли их проводить, когда поджало никак не установленное время. Было пусто на летней, послеобеденной улице, на заборах уже висели немецкие плакаты. За городом они попрощались. Моисей Соломонович вдруг безутешно, как дитя, разрыдался. Он снова не мог выговорить, смотрел беспомощно на жену и кивал, зачем-то, голосом.

— Ну и что я говорила? — сказала Сарра. — Старый, что махнул!

Она оттолкнула Николай Павловича в сторону на свет и заглянула ему в глаза:

— Нехай она будет у вас одна!

— Мама, может вернется, — попросила Ханна. Ей было тяжело, ей не плакалось.

— Зачем? Вы — молодые! Как-нибудь да перебьетесь! Чего мы будем вас за собой тянуть? Николай Павлович... Коля... родненький... не оставьте!

— Ты се, ты се, — вдруг обрел голос Моисей Соломонович, — вы думаете, она знает, что говорит? Она думает, что у ей одной есть сердце! Вы ее не слушайте! Вы любите Ханночку, как она вас любит...

Он обнял Сарру:

— Пойдем, старая, пойдем...

Дорога шла лесом, и скоро старики растворились в зеленой тани деревьев.

Возвращаясь, Синазов и Ханна молчали. Николай Павлович, забывшись, ел слышно, почти про себя, заскристал чарльстон. Частые грудные всхлипы остановили его. Ханна плакала, давясь и задыхаясь.

— Папка лучше свистел! — с трудом проговорила она.

XV

Старики не ушли далеко. У первой же деревушки им наперерез вышли трое. Двое в немецкой форме, третий в штатском, видимо, русский.

— Ну что, живые, допрыгались? — спросил он, ссутуля плечи под величавым на него поддаком: Не стесняйтесь! Вытрикивайте бабухи!

Моисей Соломонович выяснил, что-то не ко времени веселое, а Сарра выложила на траву все-еду, а мятловый стрел, и полудрагоценности.

— А теперь, парки, раздевайтесь! Ну, живо!

— Са он говорит, Сара, — будто не слыша, спросил Моисей Соломонович, — пап думает, что у нас золотые подтанники? Нехай пап успокоится! Все наше золото у него!

— Ну, поговори мне еще, пейсатый! — парень в штатском съездил Моисея Соломоновича в зуби.

Сарра, бросившаяся на защиту, сердцем поймала пулю. Немец келкнул ободом.

Моисей Соломоновича поставили на колени и выстрелили ему в затылок. Свист оборвался.

XVI

После всего, что с ним произошло, Ольхин не то, чтобы присмирел, а сделался совершеннейшим скроингор в проявлении чувств своих. Могло показаться, будто что-то умерло в нем. Дни шли за днями, он лежал у себя за печкой с

тоже не все потесненной книжечей, но не читал и не спал. На свободных глаз с потолка, зурал. Ему говорили, что немцы всех здоровых, сильных мужчин и женщин угоняют на работу в Германию, он кивал; ему втолковывали, что еще можно бежать, что окрестные леса полны беглецов, он кивал; ему насаживали, что среди новых порядков можно недурственно выдвинуться, он кивал.

Видя такое, Осиповна крестилась и просила за жильца своего у запяленных глаз бога на иконе, и не знала, что же ей, бедной, делать, и вела себя так, будто поселился у ней за печкой мертвец.

Иногда Михаил выходил во двор и подолгу сидел где-нибудь в тени, под деревом. Следил ласковыми, будто со слезой, глазами дела неутомимых птиц, покуривал, да думал чего-то, то задыхая, то улыбаясь осторожно.

Не понимал он перемен в своей жизни. Ну что, работал он раньше исправно, ждал субботы, потом отходя с похмелья, снова шел на работу. Был какой-то порядок во всем, лежился он ровным грузом на плечи Михаила и, чудно, не жал вовсе! По полочкам, по полочкам раскладывались тяжести, каждому дню довлела забота его и не надрывалось ухомоступ сердце, тануло дорогой своей, знало, когда плавать, когда расселиться.

Нового в порядках, в поведении людей еще не замечал Охнин, да это его и не тревожило. Болела другая сторона.

"Что же делать теперь?" спрашивал он себя и ответа не находил, и ждал, покурив, прочь из сада в свою комнату. Натура его требовала выхода. По ночам все встревало ему на ум песни русские. Садилось душу, влажными становились веки, и гляд по бескрайнему снежному полю обзвоненных коней своих удакой ящичик, как в падучей бился вальдский бубенец под дугой, снег звонкими комьями летел на беспомощно пылающее сердце, и сладко отыло оно. Тогда Михаилу казалось, что где-то ждут его. "Не приходить бы!" — вздыхал он.

Понутру как-то проснулся он, протиски обивочения, разом. Тепло ясно чувствало скользкий холодок далекого сада, го-

ловя была свободная, свежая, ей не бредилась причудливая ночная духота и отчаяние. Ольхин вскочил и, не улавливая, не нужна была вода сейчас, — вышел в сад. Еще не успел уйти ночной тягучий туман из-под деревьев, в его складках сугробах стояли малышки и кривляшки. Солнце брезжилось едва-едва. Было так свежо, что Михаилу подумалось, уж не вчера ли он родился. Прошлая жизнь отрезанным ломтем стояла за спиной его. Раздвигая мокрые, съезжавшиеся ветви, он робко пошел, оглядя грядки с огурцами, зеленые пузиры помидоров, щекоцущие объятия гороха. шел вдоль забора, засматривая и соседям, улыбался. Безлюдно было вокруг в эту пору. Ему захотелось поглядеть на дом Ханым. Вспомнилось, что Осиповна говорила на днях, будто все евреи куда-то уходят из города, опасаясь немцев. "Может, уже и пуст!" — отчего-то радостно подумал Михаил, подходя к забору вплотную. Дом стоял, как прежде, высокий, громоздкий, уверенный в себе. Казалось, чтобы его повредить, нужно, во крайней мере, землетрясение. Ничего немалого в его обличье не было. Станин были закрыты неплотно, не висели на дверях замки.

Ольхин вспомнил Ханну и ни о чем не подумал. Стрелась все случайно, случайно и прошло. "А, все-таки, пропавший! — подумал Михаил. — Чего бы она за мной увидела?" Он закурил. Вдруг брякнуло что-то внутри тихого дома, двери со скрипом разъехались и на крыльце вышел поджарый, молодой мужчина с панировкой в руке. Знакомой была его осанка и то, как куря, он сначала резко заглотивая дым, а потом несколькими, видными струйками медленно выпускал его сквозь подобранные губы.

— Соседи! — кликнул его Ольхин. — Поди покурить.

Мужчина задрогнул.

"Николай... Николай... Павловач!" — вспомнил Михаил и зашевелился:

— Коля! — сказал он. — Поздравляю! В приманках живешь!

Николай Павлович медленно, озявнув, подошел и, без особой радости, поздоровался.

Ольхин внимательно посмотрел на него. Что-то нехоро-

нее поднялось в душе. Михаила и сам не назвал бы это словом. Он поморщился:

- Чего не спится-то? Выйди последний народ!

Сымаков неопределенно покачал плечами:

- Да... так...

- Так? Так ничего не бывает! Так, даже муха на варенье не садится!

Оба помолчали. Один в смущении, перекинаясь с ноги на ногу, пряча глаза; другой, нависая на забор, с далекой улыбкой на губах, спокойный.

- Вы... Вы... оказывается... тут... рядом живете, - запылился, начал Николай Павлович.

- А вы как думали? Я всегда рядом!

- А... вам... не стыдно?

- Что?

- Вам не стыдно, что мы порабощены? - раздельно повторил Сымаков, глотнув дыму и, помогая себе рукой, продолжил: Что немец, грубый немец топчет нашу траву, нашу забористую на наших землях, мужики гонят на свои поля, как обычный скот? Вам не стыдно среди этого жить, дышать, есть...

Он был не в себе. Нервы его безнадочно сорвались. Ему было все равно - знал он своего собеседника или не знал. Заркая муха одиноких раздумий требовала первых под руку подвернувшихся слов.

- А вам? - с прохладцей в голосе спросил Михаил.

- Мне? А у меня выхода нет! Я, как перст, весь на виду! Мне разве что умереть осталось!

- Это почему? Что вам - больше всех надо?

Николай Павлович яростно вбил окурок в землю.

- Слушайте, вы, ефимки! Вам, хоть издали, знаком выбор? Когда два берега есть у человека и ни на один он вникать не может! О! Если бы это случилось только со мной! Понимаете? У меня - еще одна судьба на плечах! Ничего не подозревающая судьба! Она думает, что жизнь наша вот, рядом, стоит только прибиться к чему-нибудь! Нет! Я сойду с ума!

Он помолчал и быстро спросил:

- Что и не знаете? А? Ведь хотели!

- Другой- это Ханна?

Симаков сверил его взглядом:

- А вам-то что?

- А ты не вадирайся!- Ольхин сказал доски так, что они затрещали: Я не муж ейный! Я спрашиваю!

- Ну... она...

Михаил помолчал. Он не мог разобрать, что стучало в сердце. Наскоро грубо перевалился через забор:

- Пошли в беседку, что ли. Поговорим хоть толком.

Носившая за ним, Николай Павлович злился на Ханну.

"Ведь все знает, сукин сын,- думал он, глядя на крупную фигуру Ольхина,- любая лавейка в этом саду ему известна!"

В беседке сели друг напротив друга. Закуривли. Симаков спросил:

- Сначала и все?

Потом повзвился и улыбнулся снисходительно, как на вокзале:

- Мы ведь с вами старинные собеседники!

Ольхин нетерпеливо бил пальцами по столу.

- Перестаньте! Я никак собраться не могу!

Симаков помутив свое небритое лицо, востеркнув верхнюю пуговицу на сорочке, начал:

- Я любил Ханну...

"Не то!" - ослепительно ударило ему в голову:

- Подождите...

Все были далекие, ненужные слова. Он отмахнулся:

- Знаете, есть на земле одно из самых легких положений,- сказал он, глядя Михаилу прямо в глаза,- положение судьи. Он всегда прав! На эту должность все стремятся! Она всем в лицу! Я вас прошу,- он наконец дотронулся до собеседника,- только поймите! Боже мне ничего не надо! Я... одним словом, немцы предложили мне у них работать...

Ольхин молчал.

- Я не знаю... ну... это не предательство... Нет! Ах, черт возьми, язык у меня деревянный! Да не в этом дело! У них там есть Каттель один... Так вот он! О! Его

глаза... я их постоянно с собой нону! Ему наболтали...
математик, стрелюк, скотина, что у меня в Ханы...
ну, вы понимаете... А он, Каттель, то-быль психолог, ви-
дите ли, знаток души человеческой... он там опыты ставит..
Ну, изучает! Ему как раз надобно знать, может ли русский
с еврейкой спать! Он мне говорит: через неделю придете
вдвоем... посмотрим, мол!

Симаков подавился табачным дымом, закашлялся и вы-
дохнул:

- Все!

- Она не знает? - Михаил потнул головой в сторону
дома.

- Нет! - Вдруг, вскакивая, закричал Николай Павло-
вич. - Нет! Теперь судите! Я ничего ей не мог сказать!
Ни пол-слова... Судите же! Мне не стыдно! Ни на вот столь-
ко!

- Сядь! Ну сядь же! - сказал Ольхин. Ему стало несе-
ло. По заснеженной стене гнал обесумевших коней своих
яшкин, рубаха-парень, удалой в доску. Звонкие копыта сне-
га ждали на пылающее бесноватное сердце и сладко стило
оно:

- Ну, погодь, погодь, дурак! Чего даром сердце ло-
мать! Любит она тебя?

Симаков смутился:

- Положым!

- Тогда ладно! - Михаил встал. - Слушай! Уходите вы
отсидава, куда глаза глядят!

- Нельзя! - Николай Павлович оглянулся. - Следят!

- Э! Да тут ночь сам черт ногу сломит! Собрали ко-
томку и - айда в лес! Зная, зная, не верти головой! Вам
когда идти к этому... как его...

- Каттель?!

- Вот! Ему?

- Завтра!

- Ну и с богом!

- А? ... А? ...

- Вместо вас я пойду! Скажу, так и так, мол, голуб-
чик, убил я их обоих на равности наповал. Теперь, что

хоть, то и делай, твоя воля!

- Вы- сумасшедший,- сказал Симаков, вставая,- я пошел! Будьте здоровы!

- Да подожди ты, голова баранья! Слушай, коли дело говорят!

- Это не больше, как мальчишество! - Николай Павлович попытался высвободиться из хватки рук Ольхина. - Да вам никто не поверит, в конце концов, идиот вы отчаянный!

- Нет, постой! Немцы народ ушлый! Будь уверен, все дела мажореские у твоего Битля под рукой! А уж там про меня таксе написано... всему поверят!

- Послушайте, чудак-человек, зачем это вам? Вас же расстреляют, как собаку, на месте! К Ханну я вам не отдам! Вот пока мне буду, за мной она! Поняли!

- Не веришь? - Михаил крепко ухватил Симакова за грудки и поднял в воздух: Не веришь! Не надо мне Ханни и тебя мне не надо! Вот так! Я не для вас это делаю! Для себя! Довело?

Он отбрыкнул Николая Павловича прочь:

- И чтоб этой же ночью духу вашего здесь не было!

Ольхин повернулся и, тяжело ступая по мягкой, ухаженной земле, пошел к себе.

- Остановитесь! - Симаков бросился за ним. - Я не могу этого принять! Это - убийство!

Михаил уже успел перелезть через забор. Симаков оторопело потоптался на месте и медленно двинулся к дому. В крыльца остановился.

- Спасибо,- прошептал он как-то сконканно, будто плача. - Спасибо!

XVII

Николай Павлович был раздавлен, до слез тронут наивным предложением Ольхина и... счастлив. Счастлив, как, пожалуй, не был никогда в жизни. Дверь, только что минувшая ему под сенью замка, оказалась стоящей настежь. Не никто не стерег! До нее никому не было дела!

Симаков утер в глаза ползущий пот: "Как же я сам не догадался! Болван!" Он вспомнил, будто кто-то приоткрыл кабинет Кеттеля. Немец улыбался, остро вежливые морщинки бежали по скулам: "Вы придете ровно через неделю и не сдвин!" "Как бы не так!" Но как запугал! Будто шоры на глаза навесил! Куста боялся! В каждом прохожем шлика узнавал! Труси! Труси!

"Нет! — сказал кто-то услужливый и унылый. — Таких бы и любой на твоем месте! Думашь, они лучше? Нет! Просто с ними ничего не случается! А если и случается, они молчат!"

— Спасибо тебе, парень! Спасибо, милый! — шептал, сидя на крыльце, Николай Павлович. — Спаси! Как бог свят, спаси!

Он появился, закурил и забегал по саду, не обращая внимания ни на текущее уже восходившее солнце, ни на ветви насторожко царявшие лицо, руки, одежду. "Ничего же ночью!" — твердил он, как строну прекрасного стихотворения, вслушиваясь в каждую букву и начиная вновь: "Ничего же ночью! Куда глаза глядят! А ты боялся, болван несчастный!" — с удовольствием пропел он вслух.

Симакову было с чего радоваться. Неожиданный, большой разговор с Ольгиным будто сдвинул его с мертвой точки. То, что считал он физически невозможным, фантастическим, на поверку было всего-навсего внушением, мнительностью. Можно быть свободным и жить любя, нужна лишь мизерная смелость для ночного ухода! И только! В мечтах Николай Павлович уже бред ранним, свежим утром по лесу, полн со всех сторон птицы, Таня что-то рассказывала ему, вляпав на бок голышку и покусывая травинку...

...Теперь он был спокоен за нее. Имел право молчать, чему-то про себя улыбаться, говорить, ни чем не выдавая своего назначения. А в полночь собрать дорожный узелок и... спасти любимую, спасти молча.

"Когда-нибудь... потом... я расскажу ей все, — грешил Симаков, — пройдет время, я разовью ее, прихожу к книгам. Вот тогда она поймет! Не поймет по-иному, чем это произошло бы сейчас! Милая моя! Единственная! Горе мое!"

Нужность валила его. Ему захотелось немедленно увидеть, обнять Ханну, прижаться к ее груди и замереть.

Он припустил, как мальчишка, на ходу подпрыгивая, к дому. В полутьме коридора ему вспомнились Ольхин. Стало тесно на сердце, как если бы Михаил все еще держал его за грудки в воздухе.

— Ийду и сижу, что убил обок на равности неповал! — усмехнулся Николай Павлович. — Придет же такое в голову! Но все равно — молодец!

Семаков рванул на себя дверь. Ханна стояла спиной к нему у стола и, глухо постукивая ногой, что-то резала в заставу.

— Как я соскучился по тебе, звездочка моя синяя! — сказал Николай Павлович, обнимая ее.

Более в этот день он об Ольхине не думал. Его окружала уверенная пустота, в которой обычно живут люди, принявшие, после долгого колебания, твердое решение.

XII

Ночью загорелись припохвальные склады. Дождей в последнее время не было, и огонь занялся живо. Небо над городом раскрасилось докрасна, казалась, стирался пламенный зев. Старожины впервые видели все улицы освещенными. Закинула нависла, жила домов, пренебрегая опасностью, сновали скользкие тени, слышались далекие верны и выстрелы. Говорили, будто где-то бомбит, но за суматохой трудно было разобратъ, что же именно стрелялось.

Михаил еще во сне слышал скрипящие шаги и эхи Осиповны, стул, резкие, чужие голоса. Он упруго потянулся и сел на постели, свесив босые ноги на пол. Из сеней, грохоча, послышал немецкая речь и сочный бас по-русски спрашивавший: "Где они?".

Дверь распахнулась. Борзались два эсэсовца с автоматами наперевес, за ними вошел невысокий, полный мужчина в черном офицерском мундире.

— С добрым утром! — отчетливо выговаривая каждую букву, сказал он приветливо:

- Баба хозяйка посоветовала к вам обратиться. Может, вы знаете, куда качался соседка ваша Соховеички, а с ними и некий Симаков Николай Павлович?

"Уха!" - подумал Михаил, почесывая грудь. Подробно в памяти всплыл давешний разговор, обещание спасти, пообещание, давшие глаза Ханны налились черни... "Что же делать?" - Он сглотнул тугую слезу, разом набившую горло:

- Можно, начальник, и воды попить? У меня с похмелья голова, как чугун...

Кеттель улыбнулся:

- Можете, что не только с похмелья. Ну да ладно. Голову все равно беречь надо! Идите пейте.

Он сел. В кочезнование Симакова с Ханной ему как-то не верилось. "Молодой человек запуган и умен, - думал стурмбанфюрер, покусывая сигару, - значит рассудок непременно подскажет ему правильное, мне выгодное, решение - переехать. Переехать. Поработать. Перед инстинктом самосохранения любая любовь отступит. Им не говорили о том, собираюсь ли я его ликвидировать. Это должно было открыть выход его мечтам, надеждам! Что же, все-таки, случилось? Может, действительно, есть какие-то русские особенности?"

Встал с панирской Ольки и стал натягивать штаны. Руки его тряслись.

"Трусит! Чего он трусит?"

- Ну, я вижу...

- Уж больно вы красиво по-русски говорите, начальник. А, простите, чем интересуетесь?

- Забыл?

Михаил смущенно улыбнулся:

- Баба туго работает!

- Это не беда! Ее всегда починить можно! Хане! - взглянул Кеттель.

Надменно подошел коренастый эсэсовец и сбоку, тяжело, ударил Олькина по спине. Тот упал. Его подняли и поставили перед Кеттелем на колени. Стурмбанфюрер двумя пальцами, за волосы, поднял ему голову:

- Ну? Вспомнил?

- Утекли! - ответил Михаил, дергаясь.

- Знаешь, куда?

- Показу! Зачем в морду-то били, гады?

- На будущее! Извести его!

В сених Михея приостановился:

- Счастлива будь, хозяйкина! - кивнул он Осиповну.

Та не ответила, у нее уже не было ни слез, ни голоса.

Ольхину показывали место рядом с шофером. Каттель, пожимая плечами, не возражал, сел сзади.

- Будешь дорогу показывать! - приказал он, меняя обложку.

- Пока прямо.

Светало. Похор сам собой сник. Небо, будто расшатавшись на лавенином яросте, надвинуло серым, присело, и потянулось на землю бесконечно тоненькая сетка летнего дождя, тленного и грустного. Михея открыл стекло.

- Влево! - сказал он, заведя перекресток.

Крепкий, играющий ветер был в его горячее, саднящее после удара лицо.

- Вправо! - вдруг вскрикнул Ольхин. Сердце его остановилось. Метров за сто впереди шла Ханна. Темно-медные волосы ее были с дождем оползая из-под легкой косынки. Рядом с ней размахивая руками Николай Павлович в широком, сером дождевике.

"Ольхель-капкан" лихо свернул в первый попавшийся переулок. За ним проревели два мотоцикла.

Каттель выпустил вязкую струю дыма:

- Заблудились в трех соснах? - едко спросил он.

- Что вы, начальник, как можно! - Михея кособокато улыбнулся. - Просто по этой дороге они никак пойти не могли. Она и к границе ведет! Тут рядом на Минск... Он мне рассказывал, что в Минске у него родственники...

"Разонно!" - решил Каттель и махнул рукой, притормозившему в растерянности, шоферу.

Ольхин перевел дыхание. Тинутее ощущение неизвестного оставило его. Сердце выровняло свой бег. Он не предчувствовал, а потому и не боялся конца. Казалось, так же, как петляет по его словам машина, будет еще долго путаться время, будет нести со собой горьким сигарным духом, а по ветровому стеклу еще вновь наплачется дождь, прощальный и грустный.

Они еще несколько раз куда-то повернули. Задавили
лихого, да нерасторопного петуха, вслутились у колодца мо-
лодайки с коромислом и, наконец, застучали по булыжнику
ухаживенного тракта, тянувшего свои серую, рябую ленту до
самого Мниска.

Михаил крепился, крепился, но не выдержал и попросил
у Кеттеля:

- Дайте мне вашей цыгарки?

Тот, странно улыбувшись, угостил.

Ольхин изумление раскурив толстый, коричневый штук-
вану и зашевелился. Кеттель легонько похлопал его по спине
и что-то сказал по-мненци. Машина остановилась.

"Ахет, мерзавец! Петляет, как заяц, крутит на одном
месте! Я те поверчу!" - думал итурибанферер, осторожно
вступая на воздушную после дождя землю. По обе стороны до-
роги стоял влажный, тихий березняк. Было слышно, как вза-
хлеб, шурша, шьют ветви теплые, щедрые кашки. Где-то ра-
ботал дятел. Потом смолк. Его место вступила другая пти-
ца, она повернула горлом, дала наугу и звонко спросила:

- Ку-ку-ку-ку?

- Приехали! - задумчиво произнес Кеттель. Шофер толк-
нул Михаила с сиденья. Тот, нехотя, вылез.

- Ку-ку-ку-ку, - не унималась птица. - Ку-ку-ку-ку!

- Раз... два... три... четыре...

- Замолчите! - багровел, закричал Кеттель. Ольхин
смолк, а Кеттель рассеянно, будто извиняясь, улыбуясь и
потряс в воздухе скатанной ручками. На мгновение через улыб-
ку изобинтетатуше глянул череп и исчез бесследно:

- Ну, я думаю, что я здесь вы можете поискать вашего
пропавшего соседа! Какая, собственно, равнина? Вы доста-
точно кружали по городу, почему бы не покружить тут? Ищи-
те! Ищите, черт бы вас поджал! Если найдете, порадуемся
вместе! Визже!

Кеттель отступил в сторону. Зересовцы стояли кругом
наготове.

Михаил помлился. В мозгу стучало: Ку-ку-ку-ку!

- Так чего ж, начальник, - сказал он, облизывая горь-

кие после сигары губы, — не верите? Я ж не отпетчик за
косяк! Здесь они где-то! Куды им деться?

— Послушайте, молодой человек, я не знаю, как вас
там...

— Олехин!

— Невзможно! Вам завернут нитки за уши, под каждый но-
готь загонят по раскаленной иглке за то только, что вы
посмеяли считать нас, — Кеттель, выпростав руки, обвел ими
круг, — за совершеннейших идиотов. О нашей смерти будут с
дрогью вспоминать в этом городишке. Это будет, как у нас
принято говорить, образцово-показательное убийство-казнь!
Дабы впредь так поступать никому не повадно было! Вы, на-
деюсь, понимаете!

Лицо Михаила было бледно, глаза блуждали, он бессмыс-
ленно жевал сигарный окурок, и нельзя было понять, дошло
до него сказанное или нет.

"Так оглушить! Майн готт!" — всхлипывая подумал Кеттель и
взмахнул пистолетом:

— В машину, парш! Ехаль!

Олехин повернулся к нему. По лицу его косо припахали
морщины, оно осунулось, постарело, на щеках плавали мед-
ленные желваки, он выплюнул сигарный огрызок:

"Ну уж нет, начальничек, не на того попал! За фунт
кашу не возьмешь!"

Он сбил его с ног и, обогнув машину, бросился в лес.
Сердце его радовалось. Ему нравилось, что не за себя все
это: разбитая морда, петляющая поездка на машине, колодок
конца у ленток. "Ведь полиш! — мелькнуло, будто перед
глазами. — И чист! Чист!"

Сзади мелко расщепалась автоматная очередь. Пули
ударяли совсем рядом в березу. Где-то кукушка подавалась
своим монотонным ку-ку. Михаила обдало теплыми, теплом
дерева согретыми, бригами. Бухнул одиночный выстрел, по-
сыпалась листва. Еще. Еще. Михаил не понял, куда попал.
Ноги его подкосились, и он упал. "Осталось немногое! Уй-
ду!" — подумал он и, так же лениво, путая на ходу следы,
быстро побжал вперед. Ночью пахла сзади в белый свет,

как в копеечку и не знахи, дурни, что совсем рядом, вот там, ждет Ольга на своей доске, рубаха-парень, рыцарь... ржут удалье удалые кони... Ну... ну... пошел, родимый! ... "Ку-ку-ку-ку!" - складывая губы сердечком и, роняя ему на глаза свои горячие, красивые волосы, сказала Ханна. Стало темно...

- Повесить его на городской площади с соответствующей надписью на груди! - приказал Кеттель, садясь в машину. В руках у него был ломкий носовой платок, смоченный кровью. Падая, он рассек о бампер губу и теперь, боясь заражения, торопился домой.

"Всех упустили! - думал он раздосадованно. - Черт их разберет, этих русские! Все наоборот делают! Один как-то бессмысленно, против всякой логики, сбегал; другой затесался, дурак дураком, не в свои сани и погиб... Себе никакой пользы и другим..."

Кеттель вслух выругался.

Домой он, переодевшись в пижаму, долго расхаживал по своему кабинету, подходил к окну, тоскливо смотрел на улицу, цокал языком. Привыкнув работать ежедневно, он больше всего, с чувством близости к суеверию, боялся различных бытовых похв. Теперь новая глава рукописи откладывалась на неопределенный срок. Итурибанфрер пытался злиться ровно, размеренно.

Все-таки досада брала свое. Не видя выхода, Кеттель разделся и лег спать.

"Чтобы не иметь неприятностей, не надо о них думать!" - решил он, кутаясь в одеяло.

Уснул он быстро и спал, как младенец, свесив беззащитно розовые ступни за край кровати.

XIX

- Любимый! Ты уверен, что нам надо уходить?

- Разумеется! - Николай Павлович кивнул. Дымя папиросой, он намертво стягивал концы бахромчатой, серой скатерти в узел. Движения его были быстры, метки.

Ханна вздохнула. Верно! Да вот, после ухода стариков,

старый дом ее будто меньше стал, теперь клетку напоминали его высокие стены, комнаты теснили душу, по ночам казалось, что спавшей она, льнут к кровати; стоило закрыть глаза — и она начинала ощущать мерцающие прикосновения мехом выбеленных панелей.

И уже несколько ночей Ханна почти не спала, лежала, пританцовывая, и смотрела не мигая, пока веки не сложились сами собой.

Однако, по-настоящему заболело сердце лишь, когда Симаков настоятельно объяснил, что этой ночью они должны уйти. Откуда что вышло! Ни в лесках, ни в заботах, ни в делах не оставяла Ханну тоска. Острая нить ожидания тянулась в грудь. Было жалко и жутко идти в ночь, глядя широко открытыми глазами, как клубится меж деревьями неведомого леса чуткий мрак. Ханна старалась выгнать повеселее и исподтишка завидовала собранности Николая Павловича.

Тот, занятый собой и сборами, никаких перемен в Ханне не замечал. Он считал, что теперь повода тревожиться быть не может. Высочайший орел тайного спасителя схватил ему очи. Роль была несложной, но захватывающей. Николай Павлович думать забыл свои недавние страхи. Все казалось ему доступным и скорым. Вернувшись из сада, он за завтраком, между делом, прикинул, что с собой взять. План пришел мгновенно. Симаков довольно, не тягостясь временем, дожидаясь, а, как только стало, твердо сказал:

— Пора!

Теперь сборы были кончены.

— Платье взял? — Ханна неуверенно, боком, присела рядом с ним на диван.

— Да!

С улицы что-то глухо ухнуло, земля дрогнула. Николай Павлович бросился во двор. Над домами, верно в районе вокзала, плескал резкий язык пламени. Угадывался бурлящий шум и крики.

— Хорошо! Ах, хорошо! — подумал, очастливо улыбаясь, Симаков: Это нам на руку!

— По-моему, бомбит! — весело сказал он, вернувшись

в комнату. Катя вскрикнула.

— Что ты, голубенькая! Это же — прекрасно! В такой суматохе нас никто не заметит!

— А будь все спокойно, заметил бы? — спросила, насторожившись, девушка.

Николай Павлович смутился и, ничего не ответив, погладил ее по голове:

— Маленькая моя, голубка! — он похлопывал. — Ну ... вот закрой на минутку глазки и представь, что мы с тобой одни. Мир вокруг затих, война кончилась... мы вдвоем идем по весеннему, горячему дугу... Слышишь, птицы нам поют, встречные улыбаются! Плохого ничего быть не может! Светло вокруг! И родители твои живы! Едут, слегка отстав, нами любоваются! — Он расцеловал ее. — Ведь, правда, хорошо! Вот для этого мы и уходим! Не ведае война! Понимаешь, звездочка, моя нежная!

— Любимый! — Катя подала ему, сияющие в мокрых ресницах, глаза. — Любимый, я не об этом! Я не знаю, чего я! Сердце некое не дает! Колотится, как сумасшедшее... О! — Она засмеялась. — Ты на меня внимания не обращай! Это — мое! А я... я от твоих поцелуев, как пьяная!

Смаков отвернулся, смакнул сладкую слезу.

— Давай, посидим на дороге... по обычаю!

Сели, обнявшись тесно, рука в руку, плечо в плечо.

— Ну! — Николай Павлович встал. — С богом!

Они благополучно миновали свою, ставшую необыкновенно светлой от пожара, уличку и переулочки, вдруг, пошли куда глаза глядят, лишь бы вон из города, лишь бы прочь от войны, а так — видно будет. Жизнь большая...

...Несколько раз им навстречу попадались бегущие, они перепрыгивали; на одном из поворотов мимо них в сопровождении двух мотоциклов скользнула большая темная машина. Не сговариваясь, они забегав в темный арсен чьей-то казармы и с полчасца боялись выходить оттуда.

Скоро рассвело. Легко закрапал дождь. Он залучливо перебирал траву, щекотал придорожную траву. Все вокруг зашуршало и ожгло. От этого даже показалось, будто кто-то идет за ними нога в ногу. Оглядывались — пусто! Лишь на

в комнату. Ханна вскрикнула.

— Что ты, голубенькая! Это же — прекрасно! В такой суматохе нас никто не заметит!

— А будь все спокойно, заметил бы? — спросила, насторожившаяся, девушка.

Николай Павлович смутился и, ничего не ответив, погладил ее по голове:

— Маленькая моя, голубка! — он помахал. — Ну ... вот закрой на минутку глазки и представь, что мы с тобой одни. Мир вокруг затих, война кончилась... мы вдвоем идем по весеннему, горячему лугу... Слышишь, птицы нам поют, встречные улыбаются! Плохого ничего быть не может! Светло вокруг! И родители твои живы! Идут, слегка отстав, нами заблудились! — Он расцеловал ее. — Ведь, правда, хорошо! Вот для этого мы и уходим! Не ведае война! Понимаешь, звездочка, моя любимая!

— Любимый! — Ханна подала ему, сияющие в мокрых ресницах, глаза. — Любимый, я не об этом! Я не знаю, чего я! Сердце покою не дает! Колотится, как сумасшедшее... О! — Она засмеялась. — Ты на меня внимания не обращай! Это — мое! А я... я от твоих поцелуев, как пьяная!

Смирнов оттернулся, смахнул сладкую слезу.

— Давай, посидим на дороге... по обычаю!

Сели, обнявшись тесно, рука в руку, плечо в плечо.

— Ну! — Николай Павлович встал. — С богом!

Они благополучно миновали свою, старую необычно-светлой от пожара, уличку и переулочки, наугад, пошли куда глаза глядят, лишь бы вон из города, лишь бы прочь от войны, а там — видно будет. Жизнь бодрячая...

...Несколько раз им навстречу попадались бегунки, они перекидывали; на одном из поворотов мимо них в сопровождении двух мотоциклов скользнула большая темная машина. Не сговариваясь, они забегали в темный проем чьей-то каляитки и с полчасца боялись выходить оттуда.

Скоро рассвело. Легко закрапал дождь. Он задумчиво перебирал иголки, щекотал придорожную траву. Все вокруг зашуршало и ошело. От этого даже показалось, будто кто-то идет за ними нога в ногу. Сглядывались — пусто! Лишь на

глазах тешнели, заливались слезы.

Ханна настояла, чтобы Симаков надея плащ. Действительно, в сером просторном дождевике было уютнее.

Начинался неуверенно блеклый день, когда они вышли из города. Под ноги легла тихая проселочная дорога. Ночные и городские страхи остались за спиной. Они целовались на ходу. Побег на деле ничем не отличался от обыкновенной загородной прогулки в мирное время.

- Ты не устала? - спросил Николай Павлович.

- Не-ка, я - сильная! - блеснула ему из-под бровей Ханна. Потерялась родинка о плащ и попросила:

- Ты не молчи! Я уже привыкла, что ты мне все время что-нибудь рассказываешь.

- Мне хорошо, маленькая! Ты знаешь, я обычно говорю, когда меня что-либо тревожит, мучает, а, когда мне так, как сейчас - я молчу! - Он обнял ее. - Я тебя слушаю.

Темная розовая краска залила ее щеки.

- Коля! - позвала она, - Коля! Ты скажи... Ты не будешь меня стыдиться, когда я буду... ну в ... в положении.

- Ну что ты! - он смежно взмахнул руками.

- Я очень хочу... этого... Ты мне будешь тогда любить? - Она еще больше покраснела. Похорошела. Платочек сбился ей на плечи, волосы свободно потекли по лицу.

- У нас будет мальчик, я знаю, - продолжала она, - крепкий, толстенький мальчишка. Он будет похож на тебя и на... папу! Мы назовем его, - Ханна загнулась, - Лейба! Да, Лейба, чтоб он был сильным и смелым, как лев! Ведь Лейба - это, по-нашему, лев...

Кажется, Симаков хотел ей возразить, но что-то тонкое засыпало в воздухе и ухнул впереди столб пыли и зелени.

- Бейми! - закричал Николай Павлович на своем голосе и, подхватив Ханну под руки, бросился в кусты. Близко, едва ли не в трех шагах от них грохнул второй взрыв. Оба упали.

Очнулся Симаков весь засыпанный землей. Возвруг стояла

туго натянута тишина. Припомнив все, он встал.

— Ханна! — позвал Николай Павлович, не слыша собственного голоса. — Ханна!

— Что это? — охот его ужас. — Может, я оглох! — Иерещь от боли, повернувшись. Нет! Ничего не видно!

— Ханна! — Он напролом полез через кустарник: Ханна! Живая, где же ты! Господи, сделай так, чтобы она была жива! Что угодно, господи, только не оставаться сейчас одному!

Наконец, Смаков выбрался на небольшую полянку и, заметив среди зелени знакомое цветастое платье, чуть снова не потерял сознание. Собрав все силы, миновал он разделявшую их траву и упал. Отдохнув, поднял голову:

— Ханна! Ханна! Ты жива, родная моя?

Молчала девушка, уткнувшись лицом в траву. Крови нигде не было видно. Казалось, она играет, как бывало играла в постели. Притаится мишкой мишкой и молчит, пока терзает ее и так и эдак Николай Павлович. Потом разом расхохочется и ну валить его на спину...

Сейчас Смаков перевернул ее. Мертва!

Он не замечал, что все начало дрожать, трепыхаться перед глазами.

Мертва!

С лица сошла краска, будто только что кто-то жестоко, жадным ртом выпил ее!

Мертва!

Родника побелела, расплылась!

Мертва!

Е текут красные ее волосы, снесат в землю, мешаются с травой, на глазах почернеют...

Мертва...

Николаю Павловичу показалось, что жгут эти пряди его ладони. Он отпрянул. Голова Ханны свободно запрокинулась, ускользнула с губ что-то и открылась крошечная, спичечной головки не более, ранка на виске. Над ней на волоске дрожала капля крови.

В седьмом часу вечера снова появился на улицах Заборьевска Николай Павлович Симанов. шел он как-то очень прямо, руки крепко держал за спиной, на шее его висел косо летний женский платочек в крупную синюю горошину.

На привокзальной площади увязались за ним мальчишки. Бегали улюлюкая, подражали застывшей его походке. Самый смелый сорванец дернул его за полу просторного дождевика. Симанов медленно всем телом повернулся.

Мальчишки запрыгали:

— Дядька! Дядька! У тебе глаза белые! — кричали они.

Вмешалась какая-то пожилая, рыхлая женщина:

— Дурни! — гнала она мальчишек. — Байстрйки! Эта ж сказенный! Утекайте! Убьют!

Николай Павлович, до того стоявший без всякого выражения, подошел поближе:

— Убью, говорите? — переспросил он и застенчиво улыбнулся.

— Нет! Напротив! Я сам убить!

Он, словно переломился, потерял осанку и быстро пошел к вокзалу. С той поры не видели его в Заборьевске. Пропал человек.